

Самые крупные улитки живут на кладбище. Вот на этом старом городском кладбище...

Он взял улитку за раковину, осторожно потянул, оторвал от гранитного надгробья, по которому она ползла, оставляя влажный след. И тут же эта большая и такая, казалось, медленная улита втянула ногу-присос и голову с двумя парами мягко-подвижных рогов в раковину. В себя ушла. Он опустил улитку на металлическую, крашенную черным, ограду.

На сером камне надпись: «Жилкина Надежда Васильевна. 1886–1974». Это его бабушка по отцу.

Он протирает камень тряпицей и при этом смахивает еще одну улитку...

Он думает о том, что бабушка его прожила почти девяносто лет; о том, что лишь однажды видел ее и совсем не помнит, как она выглядела... Он и место могилы-то недавно узнал.

Он с трудом натягивает оказавшиеся маловатыми ему матерчатые перчатки, которые купил вчера вечером в хозяйственном магазине у дома. Вырывает ползучую сорняковую траву. Думает о том, что деда, мужа вот этой бабушки, он и вовсе никогда не видел, потому что тот погиб

в сорок пятом... Никогда не видел деда и бабушку по материнской линии. И что уж говорить о прадедах и пра-пра...

Да и живых-то родственников не видел годами, а то и вовсе не знал. Вот тетку, сестру отца, лишь недавно нашел, она и показала эту могилу, а то бы и некому было уже сюда прийти...

«Почему так? Понятие рода исчезло, нет его. Да что род... Семья-то уже весьма условное понятие. Взять хоть и нас, нашу семью...»

Он пробирался между могилами — почти уже невидимыми, заваленными мусором; и ухоженными, с крестами или памятниками... Черной железной громадой — склеп-часовня. Наверное, страшная чернота и сохранила этот дом смерти от разграбления собирателями металла... Это родовая усыпальница купеческой семьи. Если заглянуть в склеп — там, в сумраке, могильные плиты с нечитаемыми уже надписями. Они, те, кто под этими плитами, и по смерти вместе, в одном смертном доме...

Невидимые птицы свистят, щелкают, заливаются в бело-зеленых, душистых кустах черемухи, в высоких кронах лип и вязов. Солнечные лучи не добираются до травы и земли, растворяются в листве — золотисто-зеленой там, вверху, у неба...

Он вышел на дорогу, по которой от церкви к кладбищенским воротам шли люди, в большинстве — женщины. Видимо, окончилась служба.

И он, «невоцерковленный» православный христианин, пошел к церкви...

Впрочем, пора уже читателю, одолевшему первые строки этого повествования, познакомиться с ним.

Итак: Игорь Сергеевич Жилкин, сорок пять лет, женат, имеет сына четырнадцати лет, образование высшее педагогическое (русский язык и литература), работает охранником...

Дежурит Игорь Жилкин (сутки через двое) в большом офисном здании, в котором множество кабинетов, частных и государственных фирм и организаций. В том числе и редакция газеты «N-ский Вестник», в которой иногда публикуются литературно-краеведческие очерки Жилкина.

Он, когда из школы три года назад уволился, пошел в редакцию «N-ского Вестника», надеялся, что найдется для него там постоянное место. Но редактор, Вячеслав Иванович Пашулов, аккуратно лысый и округлый, в вечном сером пиджаке и с неплотно затянутым галстуком, только руками развел: «Материалы ваши с удовольствием будем и впредь публиковать, а штат редакции укомплектован. Извините».

Вышел тогда Жилкин из кабинета редактора и тут же, на соседней двери, увидел объявление: «Требуются охранники»...

Вскоре он получил черную с желтым шевроном форму.

Писать Жилкин тоже продолжал, хотя публиковали его редко. Писал в основном о местном поэте Олеге Дорогине, умершем тридцать лет назад. Жилкин изучал его биографию и родословную...

А сейчас он идет к кладбищенскому храму.

Прежде чем, перекрестившись, Игорь Сергеевич войдет в храм, добавлю: роста он чуть выше среднего, худощав, чисто выбрит, глаза серые, в темно-русых волосах, расчесанных на косопробор, заметна уже седина. Одет он в синие джинсы и светло-серую короткую куртку, на ногах тоже серые, похожие на кроссовки, полуботинки на плоской подошве. Три года назад бросил курить...

Служба, действительно, закончилась. Молодая семья — муж, совсем с виду юноша, и жена, тоже молоденькая, державшая на руках ребенка, ждали крещения. Тут же были и крестные, тоже молодые. Пожилой суровый дьякон вынес купель и что-то сказал (со стороны казалось, что сердито) юным родителям.

Игорь купил свечу у женщины в белом платке, торговавшей за свечным ящиком, и пошел к иконе, затеплил и установил свечку в поставце.

Спаситель смотрел строго, но благословлял.

Вышел молодой, с торжественным выражением лица, священник и что-то торжественно говорил родителям. Начался обряд крещения...

Жилкин стоял перед иконой. Он прочел «Отче наш». А дальше: «Господи, я молю Тебя о рабе Божьем Андрее, о рабе Божией Елене, о рабе Божьем Сергее, о рабе Божией Анне, о рабе Божией Надежде... Господи, я молю Тебя обо всем роде моем вглубь и вглубь, ввысь и ввысь — воздай каждому по Любви Твоей! Я молю Тебя во имя Иисуса Христа...»

Отец Георгий говорил ему: «Молись за родных своих ныне живущих, но обязательно поминай и умерших родных и близких своих. Даже если только имя знаешь — поминай, даже если вовсе не знаешь — поминай. Дедов, прадедов, прапрадедов. Кого помнишь, тот и рядом с тобой. Кого в молитве помянешь, тот и о тебе помолится. Всех поминай. Чем они дальше от нас, тем ближе к Адаму — истинному человеку!»

Игорь и поминал.

Он очнулся. Священник передавал звонко кричащего младенца родителям. Счастливая семья вышла из храма. Ушли торжественный священник и строгий дьякон. Только стояла еще за прилавком женщина в белой косынке, ждала, когда и Жилкин уйдет.

Игорь перекрестился еще раз на крыльце, обернувшись к церкви. Подошел к самой близкой, с высоким крестом, могиле, — в прошлом году здесь похоронили отца Георгия, — постоял с опущенной головой и пошел к воротам.

Быстро потемнело, подул ветер, зашлепали полновесные капли, пробурчал гром. Конец мая — первая в этом году гроза...

В железной будке остановки родители с младенцем и крестные.

— Вот теперь он уже настоящий человек, — поучительно говорил молодой крестный. — Да, Алеша, да... Это мне так бабушка говорила, что пока не крещен — еще и не совсем человек...

— Ну, уж ты тоже... — крестная сердито ему.

— Да-да...

— Едет такси-то? — это мать-жена у мужа спрашивает недовольно.

— Едет!

Их нравоучительные, сердитые, недовольные голоса странным образом остаются радостными. И сами они — румяные, улыбчивые...

Громкие их разговоры разбудили ребенка, он заплакал, мать принялась качать его... Подъехала машина, и вся шумная счастливая компания, загрузившись в такси, умчалась под грохот и шум грозы.

Думал Игорь о том, что вот теперь и венчаются, и детей крестят — все вовремя. Хорошо же это. А он крестился в двадцать три года, сам пришел. И с женой венчались. Тогда уже все венчались. И сын крещен. Да вот в этой же и церкви... Отец Георгий и венчал, и крестил...

Вспомнилось, как впервые пришел сюда. Мать умирала в больнице и вдруг попросила священника. Он тогда выбежал из больницы, такси рядом всегда стояли... «Мне священника надо!» — выпалил. Лениво-спокойный таксист, кажется, кавказец, кивнул: «Сделаем, брат». И привез вот сюда, к церкви. Он забегал. «Шапкуними! Кого тебе?» — прикрикнула шепотом бабушка из-за прилавка. Он даже ответить не успел, а рядом уже стоял этот невысокий седобородый человек в темной одежде и с большим золотым крестом, он уже будто бы знал все, что хочет сказать Игорь, и спокойно (даже ласково, но не приторно) говорил: «Не волнуйтесь, все сделаем. Вы на машине? Подождите, я быстро». Ненадолго ушел и вернулся с саквояжиком в руках, серьезный и спокойный.

Таксист ждал. Вскоре они уже подъезжали к больнице. И тут Игорь с ужасом понял, что денег расплатиться с таксистом у него не хватит. И опять священник опередил его, подал водителю деньги и первым вышел из машины, и сразу уверенно пошел в больницу, будто уже знал и куда, в какую палату... Игорь поспешил за ним. Но таксист окликнул его: «Брат, сдачу возьми, отдай батюшке, мне лишнего не надо». Игорь взял сдачу.

Отец Георгий исповедал и причастил его мать, в тот же вечер она после дней и даже недель бесконечной боли спокойно уснула и не проснулась. Именно уснула...

И отпевали мать в этой же церкви.

Потом Игорь пришел к отцу Георгию... Нет, не исповедаться и креститься. Отдать деньги за такси и поговорить.

Священник не отмахивался, спокойно взял деньги. И поговорить им было о чем — Игорь к тому времени уже несколько месяцев посещал собрания в баптистской церкви.

Было время, когда в город зачастили иностранные проповедники (да и по телевизору часами вещали какие-то американские пасторы). Это раздражало студента Жилкина, но и интересовало. Раздражала «иностранщина». Раздражало, что вот приезжают, жить учат. Интересовало... Вера его интересовала. Душа. Истина. Да-да. Истину искал...

Заходил он и в один из двух действовавших в то время в городе храмов, стоял послушно, ничего не понимал.

А тут прямо на площади перед институтом вещает очередной проповедник с акцентом:

— Бог любит тебя! Бог любит меня! Бог любит каждого! Прими его в свое сердце! — с надрывом выкрикивает. И тут же какие-то парни с гитарами и девушки начинают петь, танцевать, раздают какие-то красивые бумажки. И уже многие студенты, вон и однокурсники, берут эти бумажки и тоже пританцовывают, хлопая в ладоши.

— Хал-ли-луйя! Хал-ли-луйя!.. — надывается уже проповедник...

Игорь выбрался из толпы. К нему подошел немолодой, аккуратный, полноватый, улыбающийся, со свежим порезом от бритвы на пухлой щеке мужчина, в черном пиджаке со стоячим воротником, белой рубашке и черной полоской вместо галстука:

— Не нравится? — как бы даже и сочувствующе сказал.

— Не люблю массовую истерию...

— Да, харизматы — это не совсем то, что нужно в России. Хотя они и делают доброе дело — несут слово Божие, но слишком агрессивно, разве что для молодежи... Впрочем, вот же и вы — молодежь... — Он кивнул Игорю и растянул губы в улыбку.

Игорь непроизвольно улыбнулся в ответ.

— Вы приходите к нам, спокойно пообщаемся. А чтобы принять слово Божие, его надо для начала прочитать. Вот возьмите, — он протянул книжицу в темно-вишневом переплете. Евангелие. — А меня Василий зовут, брат Василий, — растянул губы в улыбку и тут же растворился в толпе.

Дома Игорь с жадностью начал читать, странички тонкой, почти папиросной, бумаги поскрипывали под пальцами. С оборотной стороны обложки был написан адрес и штампик стоял: «Церковь Евангельских христиан-баптистов».

В ближайшие выходные Игорь пошел туда. Это был дом на окраине города, обычный, деревянный, с печным отоплением... Пастор Василий встретил с той же улыбочкой. Всех входящих — мужчин и женщин — он целовал в губы. Игорю пока лишь улыбнулся. «Пришел? Заходи!» В небольшом зальце рассаживались на стулья.

И вот пастор Василий стал читать главу из Евангелия и объяснять ее. Потом все хором пели какую-то очень простенькую, но душевную песню. А потом вперед вдруг вышел высокий костистый мужик с большими рабочими ладонями и испитым лицом. Он рухнул на колени и, сложив молитвенно руки, взмолился: «Прими меня, Иисус!»

Почти год Игорь туда ходил. Он так и не вышел почему-то перед всеми, не рухнул на колени. Но к внутренней молчаливой молитве за это время привык... Шел туда и твердил самодельную молитву, там слушал толкования Евангелия, подпевал, обратно шел и тоже молитвы твердил... Каждую неделю собирали «десятину». Игорь сначала не давал, потом стал тоже класть на поднос, с которым обходил собравшихся кто-нибудь из прихожан. Стипендию он получал раз в месяц, а десятину надо было давать каждую неделю. И он, честно отделяя десятую часть от стипендии, раскладывал ее на месяц. Нет, никто, конечно, не заставлял, но как не подашь-то, если все дают. Да и не жалко было ему.

Поинтересовался и историей церкви. Оказалось, что изначально это были разные течения — евангельские христиане и баптисты, долго их заперщали, преследовали, сажали. Потом, как и для православных, наступили некоторые послабления. Но течения объединили — стала единая «Церковь христиан веры евангельской и баптистов Советского Союза», потом «Церковь евангельских христиан-баптистов». Среди приходивших на службы старушек были те, что пострадали за веру уже в 50-х годах: были осуждены, выслались и даже сидели в лагере...

Но что-то останавливало Игоря от полного принятия этой церкви. Да и мать, узнав, куда он ходит, сказала: «Нет, это не наше. Мы православные». «Так они же тоже Христа славят!» — попытался возразить Игорь. Но она только еще раз сказала: «Нет, это не наше», — и в споры больше не вступала. Но ничего и не говорила по поводу того, что Игорь ходит на эти собрания, не возражала, может, видела, что он и сам-то сердцем эту баптистскую церковь не принимает. Да и он не афишировал свои посещения баптистов — сходил-вернулся. Только Евангелие читал. Потом купил в православной церкви полную Библию...

Особой религиозности за матерью никогда не замечалось. Лишь когда она вдруг заболела, сразу и тяжело, появились в доме иконы...

Но и даже когда случилась беда с матерью и Игорь уже познакомился с отцом Георгием, еще продолжал к баптистам ходить.

Однажды Игорь задержался после собрания. И они остались один на один: он и Василий. Тот, улыбаясь губами, но построжев взглядом, спросил:

— Не пора ли, Игорь, и тебе сюда выйти? — они стояли на площадочке перед рядами стульев, куда выходили для публичного покаяния братья и сестры. — Не пора ли уже определиться и принять сердцем Иисуса, отдаться ему? — В голосе появились нотки проповедческой экзальтации.

— Василий, скажите, пожалуйста, а чем плохо православие, ведь там тоже Христа славят?

Василий мгновенно вильнул глазами, но ответил заученно-уверенно:

— Да, славят, конечно, в этом нет ничего плохого. Но они же утонули в обрядности, за обрядами суть теряется. На доски молятся...

— На иконы.

— Хорошо, на иконы. А кто на иконах-то — люди, которых они святыми считают. А мы молимся живому Богу...

В тот же день Игорь разговаривал с отцом Георгием. Рассказал о Василии, о своих сомнениях...

— Так Василий-то дьяконом у нас служил, из сана был низвергнут, не скажу за что. Но парень прыткий, нашел себе дельце, но тем и окончательно себя от Церкви отторг. Не слушай ты его, не ходи к нему, врет он, — просто сказал отец Георгий.

К баптистам больше не ходил Игорь. А вскоре отец Георгий и окрестил его. Поначалу Игорь регулярно ходил в церковь, потом все чаще ему было «некогда» — учеба, работа, жена... Но венчались, а потом и сына крестили...

Пару раз звонили ему баптисты — сначала один из «братьев», потом сам Василий. Игорь так ответил, что больше не беспокоили. Но сам себе удивлялся — как поверил, как целый год ходил туда? Неправда баптистов вдруг стала очевидной для него, причем без особых и доказательств...

Жилкин все держал в голове, что надо сходить на исповедь, причаститься, пост выдержать... Но так все это лишь в голове и оставалось, ограничиваясь лишь редкими заходами в храм, с самостоятельной молитвой перед свечой и иконой.

В общем, Игорь Сергеевич Жилкин — обычный, как говорят священники, «захожанин».

...Вскоре подошел пустой автобус. Пока Игорь ехал до своей остановки на другой конец города, автобус наполнился и снова опустел, гроза ушла, но дождь еще моросил... И вскоре кончился.

Жена на работе, сын дома и, конечно, уже в компьютере, что-то рисует там. «Ну, хоть не в дурацкие игры играет», — успокаивает себя Жилкин и необязательно спрашивает:

— Как в школе дела?

— Нормально, — так же необязательно отвечает Андрей, не оборачиваясь к отцу.

— Ты ел?

— Да.

Игорь подогрел себе суп в кастрюле. Стал собираться на дежурство.

В сумку книгу взял, тетради свои, пару бутербродов на вечер, отдельно колбаски для кота Мальчика...

Сын все молчит. В своем мире.

...Помнится, было Андрюшке года три-четыре. Только начал в садик ходить. Вдруг заметили, что плохо усыпает, капризничает, да и в садик со слезами идет. Думали, что это реакция на привыкание к новому месту. Но «привыкание» затянулось. Насилу добились от ребенка, что боится он какого-то «железного мальчика», который приходит за «плохими детьми». Оказалось, что воспитательница так успокаивала непосед... Из того садика с трудом, но перевелись в другой, а вечерами Игорь подолгу сидел рядом с кроватью сына, рассказывал сказки, которые сам же и сочинял. Придумали даже вместе сказочную страну, в которой жили звери и были они все счастливы, а домики их были на ветвях большого дерева... И когда уже слипались глазки у Андрюшки, Игорь говорил: «Спокойной ночи, Андрюша». «Спокойной ночи», — отвечал сын и тут же усыпал... «Железный мальчик», к счастью, забылся, ежевечерние сказки со временем прекратились, а пожелание осталось и до сих пор. Каждый вечер, и даже днем, уходя на дежурство, Игорь заглядывает в комнатушку сына. Вот и сейчас:

— Ну, пока, Андрей!

— Да, папа, пока!

— Спокойной ночи! — будто бы шутливо сказал.

— Спокойной ночи! — ответил, тоже будто бы шутливо, ломким басовитым голосом сын.

Позвонил Елене, спускаясь по лестнице с пятого этажа, по пути закрывая распахнутую форточку на площадке (сосед курил опять): «Как дела?.. Нормально... Я пошел. До завтра».

И через полчаса он принимал дежурство у своего напарника Славы — кудрявого крепыша из бывших военных.

2

Здание быстро пустело. Последними часов в семь вечера ушли уборщицы. Жилкин запер входную дверь и до утра остался один в большом пятиэтажном доме в центре города.

У охранников своя беззаконная комнатка рядом со входом. Там стол, стул, диван... Жилкин обошел здание, проверил запасной выход, двери кабинетов, захлопнул открытое окно в одном из коридоров и вернулся в свою комнату, вскипятил воду в электрочайнике... Вспомнил про Мальчика. Так ведь и нет его уже вторую неделю. Гуляет. Май. Но уж пора бы и нагуляться.

И Жилкин пошел еще раз к запасному выходу, отпер замок. И не ошибся — бурый в темную полоску круглоголовый котиче мимо ног проскользнул в коридор, побежал знакомой дорогой к охранницкой. Игорь запер дверь, вернулся в комнату. В старом холодильнике нашелся пакет с молоком, там же и колбаса...

Кот жадно вылакал молоко, сожрал колбасу и только теперь обратился к хозяину, стал тереться об его ноги.

— Еще хочешь? Истаскался ты, дружище... А ведь это я тебя спас... — говорил Игорь, наливая коту еще молока и отрезая кусок колбасы. — Ешь, Мальчик, ешь...

Три года назад, когда Жилкин ушел из школы и устроился работать

здесь, и случилась эта история с котом. Да какая история... Взяли домой котенка. Андрюшка, конечно, выпросил. Как часто бывает, крохотная кошечка, которую подарила им подруга жены, оказалась котиком и ее срочно переименовали из Буси в Мальчика. Через некоторое время Мальчик повзрослел и стал проявлять естественные для кота желания. Когда он, грязный и голодный, вернулся домой после недельного загула, Елена велела больше его на улицу не выпускать. Что он делал! Кидался на стены, драл когтями мягкую мебель и палас...

— Придется в клинику нести, кастрировать, — строго сказала Елена.

— Да ты что!.. — возмутился Игорь.

— Да-да, иначе вас, котов, не успокоить...

Больше она ничего не сказала. Игорь спорить не стал, в тот же день унес kota на работу; Андрюшке сказали, что убежал. Он сначала расстроился, а потом забыл Мальчика.

С тех пор Мальчик здесь и живет. Никому не мешает, а даже наоборот...

Кот наелся, мурлыча, потерялся опять о ноги Жилкина и лег на диване, блаженно потянулся и уснул, продолжая урчать громче, чем древний холодильник.

И вот теперь, напившись чаю, Игорь достал из сумки свои тетради. В них записи об Олеге Дорогине. Многие уже публиковались в газете отдельными статьями. Теперь оставалось-то — собрать все эти записи, статьи, архивные разыскания, воспоминания воедино...

К тому же в его распоряжении и архив поэта Дорогина — пластиковый пакет с оборвавшимися ручками, набитый тетрадками-черновиками, вырезками из газет и журналов с публикациями стихов, там же и толстая в черной обложке тетрадь — многолетний, с большими, правда, пропусками, дневник.

Было: в школе директор предложила (видимо, была на этот счет какая-то установка из управления образования) вести внеурочный кружок по «литературе родного края», он не отказался (лишняя копейка не была лишней). И хотя кружок вскоре прекратил существование (не сумел увлечь учеников или еще что, однако же, не пошло дело), сам-то Жилкин уже увлекся и продолжал изучать творчество местных авторов, в том числе и Олега Дорогина. Когда появились первые публикации в газете, ему вдруг позвонила дочь поэта:

— Здравствуйте, вы Игорь Жилкин? Ваш телефон мне дали в редакции. Дело в том, что мы переезжаем на новую квартиру. Я не знаю, что делать с архивом отца, музей не взял... — говорил в трубке женский голос и смущенный, и напористый одновременно.

Жилкин срочно поехал по адресу.

— Я уже выкинула это, куда нам, — говорила женщина, дочь поэта Дорогина, руковода при этом и бригадой грузчиков. Жилкин ничего не сказал ей, забрал пакеты с бумагами.

Позже в одной из дорогинских тетрадей нашел листочки с рисунками его дочери. И стихи были в той же тетради — «Дочке Юле».

«Подарю дочурке Юле яркую юлу...» и т.д.

В толстой общей тетради Игорь Жилкин писал: «Красивейшая земля была уготована будущему поэту малой родиной — деревня Большие Дворы на берегу речки Сухты, вблизи синего Сухтинского озера, где плавные холмы покрыты лесами и полями, где хранился вековой крестьян-

ский лад, где испокон веку жили его предки... Но так и осталась лишь местом рождения. А малой родиной, местом, где вырос, куда возвращался Олег Дорогин из странствий, которое воспел в своих стихах, стал железнодорожный поселок Октябрьский, куда переехала семья через три месяца после рождения Олега.

«Я рос под стук колес вагонных», «две полосы серебра — рельсы, тук да тук, как молотки стучат колеса» и еще десятки, если не сотни строчек можно привести из стихов Олега Дорогина, посвященных как теме железной дороги, так и шире — теме пути.

Великие социальные потрясения — коллективизация, индустриализация, страшная кровопролитная война — рвали семейные и родовые связи, отрывали миллионы людей от их корней... Так случилось и с семьей Дорогинах...»

Писал Игорь Жилкин и думал же и о своей семье, о своем роде. Семья отца была раскулачена и выслана, родители матери тоже почему-то уехали из родных мест (впрочем, не случись этих событий — никогда бы не встретились его родители в N-ске), оба деда погибли на фронте... Бабушку по отцу, на могиле которой сегодня был — он еще немножко помнил, видел, кажется, один раз; бабушка же по матери умерла вскоре после войны... Давно уж нет и отца с матерью.

Он вспомнил, как ходил с отцом к бабушке. Вспомнил ту улицу с деревянными домами рядом с рекой, квартиру с темной прихожей и комнаткой, в которой жили бабушка и тетя Галя — сестра отца. Бабушка угощала его пирогом... Больше ничего не вспоминалось.

Недавно Игорь Жилкин понял, что последняя возможность узнать что-то об отцовской линии — это попытаться найти тетю Галю. Нашел по телефонной книге (тетя Галя не бывала замужем и оставалась Жилкиной). Отсюда, с рабочего телефона, и звонил ей. Услышал в трубке старушечий голос, напомнимый, как ни странно, голос отца (хотя — чего странного-то?)

Поговорили тогда, съездил он к ней (уже в новый дом, в однокомнатную квартиру). Думал, что у нее есть какие-то фотографии, документы. Почти ничего не было. А еще через месяц пришлось хоронить ее (на кладбище была еще какая-то старушка, ее знакомая, и более молодая соседка, на которую уже давно была записана квартира).

Она-то, тетя Галя, и успела показать, где похоронена бабушка. А сама упокоилась на другом кладбище...

Даже и после смерти-то все раскиданы, разбросаны... «Что ж это за судьба-то такая? Что за злой рок?» — думал Игорь Сергеевич Жилкин и хотя бы в молитве своей пытался объединить всех — живых и мертвых, близких и неизвестных, далеких и забытых... И получалось, что неизвестных-то и забытых гораздо больше. Ну и, естественно, что мертвых больше, чем живых.

«Отец поэта в июне 1941 года ушел добровольцем на фронт и осенью того же года погиб. «Отца сразила пуля на войне» и другие скупые поэтические строчки, за которыми судьба мальчишки, детство которого, как и миллионов его сверстников, навсегда опалено войной.

Прошли годы, и поэт Олег Дорогин все чаще стал возвращаться на малую родину, в поселок Октябрьский. Бывал он и в деревне Большие Дворы...»

Жилкин тоже недавно собрался, посетил «малую родину» — район города, в котором жил до семнадцати лет...

В тот день он был свободен от дежурства. Сын ушел в школу, жена уехала на свою работу в пресс-службе... Да, в их семье жена ездит на машине, а он принципиально ходит пешком или пользуется общественным транспортом... Так вот, в тот день он сел в автобус и через каких-то двадцать минут вышел на улице своего детства. Давно здесь не был. Знал, конечно, что многое изменилось. Кругом новые многоэтажные дома. На месте, где стояла двухэтажная начальная школа, в которую пошел «в первый раз в первый класс» (на домашней фотографии — мальчик в школьной форме со светлыми металлическими пуговицами, в берете с петелькой на макушке, с ранцем за спиной, с букетом, конечно, этих длинных цветов, название которых всегда забывает, с улыбкой, которую старается сдержать, но она даже на фотографии тянется и тянется — до ушей)... Так вот, на этом месте теперь двенадцатиэтажный небоскреб районного масштаба.

Он пошел в сторону своего дома. Были тут бараки, нынче — бело-кирпичные, многооконные дома, стеклянный куб торгового центра... Но во дворе-то яблони, старые, корявые, осенью на них будут мелкие кислосладкие красные удлиненные яблоки — «китайка». Вон на той яблоне ведь он и сидел (на соседних — его друзья-приятели), набивал рот и карманы, ветка обломилась и, падая, он порвал штаны сзади и, прикрывая дыру рукой, бежал домой...

За перекрестком дорога разбита, сюда не ходят автобусы. И тут сохранились те двухэтажные, барачного типа, дома. Прямо вот тут, посреди дороги, потому что машины ездили здесь очень редко (разве что дрова привезут или газовые баллоны), играли в «пекаря». На кирпич устанавливалась высокая консервная банка (часто — из-под болгарских консервированных яблок), ее охранял почему-то «пекарь», остальные метров с пяти по очереди кидали длинные палки, стараясь сбить банку... Что там дальше в игре?.. Забылось совсем...

Дом — двухэтажный, деревянный, в облупившейся коричневой краске... Вот в это окно, сейчас заколоченное досками, выглядывала из-за занавески девочка и, увидев его (он стоял вот тут, у столба, не отводил глаз от окна), тут же пряталась... Провожал ее из школы... А еще они ходили в кино, и он сжимал своей ладонью ее ладошку... А в темном подъезде вот этого самого дома они тыкались холодными твердыми губами в носы и щеки друг друга... А потом она уехала. Да и у него появились другие... интересы...

Следующий дом... А нет дома. Обгорелый черный остов с проваленной крышей...

Еще дом... Его дом... Нет... Да... До крыши закрыт бесхозными то полями, первый этаж весь скрыт густо разросшейся акацией (ели горькие горошины из сухих твердых стручков).

Свернул во двор — а нет никакого двора. На месте сараек и полениц — железный гараж, мусорный бак. Подступают какие-то новодельные быстровозводимые дома. На двери в подъезд цифровой замок. Половина окон заколочена фанерными листами, на других окнах решетки. Он знал, слышал, что дом использует под склад какая-то фирма...

Вон зарешеченные окна его квартиры на втором этаже. В первое от угла глядел, как идет с работы мама. Без десяти четыре ее было видно в просвете между сарайками, потом она скрывалась за забором и через ворота (в каждый двор каждого дома с улицы вели настоящие деревянные ворота, а между дворами — калитки) входила во двор. Если без пяти че-

тыре ее еще не было видно, он начинал волноваться. И стоял коленками на стуле, упершись лбом в стекло... И в это же окно глядел, когда уходил из дома (он еще не знал, что совсем) отец.

Соседняя квартира — Араповых. Отец их все занимался физкультурой — бегал по утрам и делал во дворе зарядку (один такой и был во всем районе), был он каким-то, вроде, начальником — на работу ходил в шляпе и с портфелем (видно, не слишком большим начальником, если жил в этом доме). Запомнилось как однажды, когда колол во дворе рядом с сарайкой дрова, Арапов, возвращаясь с работы, одобрительно и в то же время как-то по-начальнически сказал: «Молодец, Игоряха, вся сила у мужика от колуна!»

А вот тут на первом этаже жил дядя Боря — тихо, одиноко, пьюще. Звали его все просто — Боря. Было ему, наверное, лет под пятьдесят тогда...

Мальчишки увлекались в ту пору деревянными ружьями с нехитрым приспособлением для стрельбы: гвоздь, алюминиевая проволока и тонкая резинка-«венгерка». Стреляли эти ружья «пульками» — кусочками алюминиевой проволоки, сложенными пополам.

Игры с этими ружьями были увлекательны и опасны. Выстрел такого ружья бесшумен, но припекает пулькой — будь здоров, тут уж не поспоришь, что, мол, «не попал». К счастью, ни разу никому не угодили пулькой в глаз.

В тот день Игорь и мастерил в сарайке ружьецо. Нашел доску, нарисовал на ней контур будущего оружия, опилил лишнее и дальше работал молотком и стамеской. От усердия даже кончик языка высунул... И услышал за спиной:

— Ну-ка, Игоряха, покажи.

У открытой двери стоял Боря. От неожиданности Игорь растерялся, ему стало стыдно своей неумелости. Боря глянул на дело его рук, хмыкнул и сказал:

— Подожди-ка, — и ушел в свою сарайку.

Вскоре он вернулся с легким топориком, взял заготовку ружья. Топорик и доска заплясали в его руках. Легкие щепочки и стружка летели из-под бритвенно-острого лезвия.

Красота его движений завораживала. Пожалуй, впервые в жизни Игорь понял красоту мастерства.

Заканчивая работу, Боря уже действовал топором, как ножом, самым кончиком лезвия, доводя, заглаживая края, а Игорю уже не терпелось взять в руки то чудо, которое он сотворил...

Даже не хотелось делать на этом ружье спусковой механизм. Хотелось гладить игрушку, вскидывать к плечу. Но уже собирались во дворе приятели, и Игорь, все же стараясь не торопиться, пробил оружие в нужном месте гвоздем, выгнул из проволоки спусковой крючок, натянул «венгерку». И сразу же попробовал выстрелить в мишень, нарисованную на куске картона и висевшую на стене. Пулька застряла в середине мишени, пробив картон.

Некоторые ребята искренне восхищались его новым ружьем, другие делали вид, что ничего особенного не случилось — ружье, мол, как ружье... Но Игорь знал, и все знали, что сегодня его ружье лучшее. И он был счастлив и горд.

Бегали по дворам между сараек и полениц до темноты...

Когда уже шли домой, Сашка Арапов сказал:

— Давай меняться, — и протянул свое ружье, тоже хорошее, красиво украшенное желтыми гвоздиками, которыми околачивают двери.

Игорь отрицательно мотнул головой.

Сашка усмехнулся, оглянулся по сторонам.

Они были в темном углу двора, никого рядом не было. Арапов выхватил из рук Игоря ружье (а был он на два года старше, в шестом уже классе учился) и об колено обломил ствол.

— Вот тебе ружье.

Игорь даже не понял сперва, он не верил, что можно вот так просто взять и сломать его ружье, его прекрасное ружье, самое лучшее.

Сашка убежал. А Игорь рыдал беззвучно. Он бросил обломки под забор в крапиву и побрел домой.

— А-а, Игоряшка! Всех фашистов убил?

Боря был пьян. Он хотел, видимо, погладить Игоря по голове, но тот откинул его руку так резко, что он сильно качнулся, и упал бы, если б не уперся в забор.

И вот это несоответствие поразило тогда Игоря: Боря — мастер, волшебник прямо, и Боря пьяный, отвратительный; все восхищались ружьем, и вот так запросто Саня Арапов взял и сломал его...

И, главное, в себе, в себе он чувствовал какое-то несоответствие, что-то надломилось и в нем...

Через несколько дней он узнал, что Боря умер. Не стало человека, и все...

Жилкин еще прошелся по улице — заброшенные дома, заросшие кустами пустыри... Качели — еще обломок старой жизни.

Развернулся и ушел. Все — побывал на малой родине.

Дорогин, вернувшись после долгого отсутствия в свой поселок Октябрьский, написал: «Я вернулся туда, где оставил родное и вечное. Я вернулся... Но вечного я ничего не нашел». Но он же и писал в своем дневнике: «Нет — есть вечное! Неразменное! Батюшков писал: «Отечески пенаты, о пестуны мои!..», о доме родном писал... А Пушкин писал: «Нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское Село!» Но ведь родился-то он в Москве, жил дольше всего в Петербурге. Почему же Царское Село? Значит, отечество — не обязательно место рождения?... Искать свое отечество, свою родину. Не зря же Есенин-то говорил: «Почему я поэт? Потому что у меня есть Родина».

«А моя родина где? — думает Игорь Жилкин, отложив рукопись книги о Дорогине. — Там, на родной моей улице, конечно... Но и в деревне, где жил отец, когда от нас ушел. Ведь все детство я к нему выезжал... А надо бы в деревню-то съездить. И родину бы отца найти, и матери...»

И еще думал: «Почему я пишу о жизни Дорогина, а о своей не пишу? Напишу тоже. Не мемуары, а просто детство свое запишу. Родина-то там — в детстве...»

Отложив свои тетрадки, он достал уже изрядно потрепанную Библию. Открыл самое начало. Вспомнилось то, что отец Георгий про Адама говорил, что он истинный человек, к которому и надо стремиться.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет...» Какие простые слова. И вечные. Вечное — всегда просто, но не примитивно.

О, тоска первых людей по родине! О, память о потерянном Рая!.. Вот откуда вечная тоска в человеке, даже если он не осознает, не знает, отчего эта тоска. Эта тоска от Адама дана нам, и никуда от нее не деться. Каждый человек является в мир Адамом. И, как Адам, переживает изгнание из Рая. И поиск родины — поиск потерянного Рая...

3

Однажды Олег Дорогин пришел на железнодорожный вокзал, решил съездить в Октябрьский, в котором не был уж лет пятнадцать, и там узнал, что такой станции больше нет, поезда и электрички едут мимо без остановок.

— Два года уж как отменили, — пояснила кассирша, увидев его растерянность.

Он поехал в автобусе, благо автовокзал рядом.

Что такое закрытие станции для железнодорожного поселка? Это смерть. Медленное доживание пенсионеров и неудачников.

А все вроде бы так же — вон, еще предвоенные, двухэтажные, охристой краской крашенные бараки, вон три «хрущевки» 60-х годов... Вон дом, где был госпиталь, вон магазин, спортзал, за переездом деревенька, к которой когда-то и прилипли первые постройки этого поселка, там видны огороды, картошка цветет...

Пустые пыльные улицы, даже собак нет. Рядом со спортзалом, когда-то казавшимся действительно дворцом спорта, в котором и сам Дорогин около года занимался боксом, панельная пятиэтажка. Там в первом подъезде старый приятель живет — Толя Букин. Тренер по боксу, а когда-то вместе начинали тренироваться. Тренер их был однорукий. Правую на войне оторвало. «Я только потому и жив, что ее оторвало, — говорил Степан Николаевич в подпитии. — Ничего, у меня левая ударная!» И ведь тренировал, и неплохо тренировал!

Вот у него и занимались. Толя Букин потом и выучился в пединституте, работал в школе физруком и тренером...

Дорогин зашел в обшарпанный, пахнущий тленом подъезд; дверь в Толину квартиру была не заперта, но Толя был еще трезвый.

Сели за стол в кухне.

— Ну, как вы тут живете-то? — спросил Дорогин.

— Доживаем, — поправил Букин, разливая по стаканам водку, которую принес Дорогин. — А я так и давно уже... Как Леха погиб — все...

Он опять завел давно уже известную историю: был у него ученик, талантливый мальчишка, в семнадцать лет первенство Союза по юниорам выиграл. Букин даже был одно время старшим тренером молодежной сборной «Локомотива». Потом случилось несчастье — парень под поезд попал, погиб. И Букин запил. Да так с тех пор уже лет тридцать и пьет, с недолгими перерывами. И ведь продолжал тренером работать. Несколько мастеров спорта подготовил. «Нет, все не то. Вот Леха был, с ним бы мы и чемпионат мира выиграли, и Олимпиаду. Трудяга был, но и талант, от Бога талант...»

— Сейчас-то тренируешь?

— Кого? Смеешься? В котельной по сменам...

Дорогин не стал допивать с Букиным...

Прошел мимо своего дома. Уж какой бы ни был убогий барак, какой бы неказистый ни был дворик — а тут детство прошло, вот тут в песке

копался, там вон в кустах и на пустыре в войнушку играли... Дом пустой, полуразваленный... Прошел побыстрее.

В библиотеку еще зашел, при Доме культуры. Кирпичное двухэтажное здание, когда-то постоянно наполненное людьми, голосами, музыкой. Теперь уныло-пустое. Но библиотека работает, открыта...

— Здравствуйте.

— Ой, здравствуйте! Что ж вы не дали знать. Мы бы устроили встречу с читателями, вас любят... — засуетилась библиотекарьша.

— Как живешь-то, Поля?

— Да нормально... Только что же вы, мы бы встречаю...

— Да какая встреча. Кому это нужно... Кому нужно — вот, книжку подарю.

— Спасибо.

Он подписал книгу. Полина смотрела на него. Когда-то вот в этом Доме культуры, в большом зале, они танцевали, а потом целовались на задней лестнице...

— Вот у нас все ваши книги, — указала она на полку.

— Да перестань ты выкатыть-то, Поля. На! — Он сердито подал книгу. — Пойду, автобус скоро.

Вот тогда-то он укрепился в мысли, что нужно побывать на родине предков. Но и тогда еще не сразу собрался.

Сестра говорила, что родом они из деревни Большие Дворы. А больше она и не знала ничего. У матери не успел ничего расспросить (по молодости не до того было).

Чем дальше жил, тем больше тянуло туда. В Октябрьский ездил много раз. Потом перестал — детство и юность там прошли, но понимал, что корни его не там... «Голос рода», так сам назвал он это чувство, звал его в Большие Дворы.

К тому времени он уже давно жил один. Бывшая жена вышла замуж за другого, дочь, когда уже подросла, неожиданно стала иногда захакивать... Позже понял, что ее интересовала квартирка. А жил он в однокомнатной, уютно-холостяцкой, «пробитой» в свое время руководством местного отделения Союза писателей...

Больших Дворов в области было двадцать семь. Еще три деревни с названием Большие Дворища. Но была еще подсказка — уезжая из деревни, долго ехали вдоль озера. Где-то посередине пути останавливались на ночевку в большом селе. А вернее, в монастыре, в то время уже пустом, в каком-то домике за монастырской оградой ночевали. «Там еще монашки даже оставались», — вспоминала сестра Елизавета (когда уезжали, а точнее, убегали из родной деревни, ей было года четыре). «Это уж потом я поняла, что монашки, а куда деваться-то им, старухам... А церковь закрыта была...» «Мама им что-то дала, помолитесь, сказала, за нас». «В пору вам, мученикам, за нас молиться», — старуха ей ответила. Вот это я точно помню», — говорила Елизавета. «Потом я уж и не помню — как ушла за стену, к озеру вышла. А солнышко садится уже, и вода в озере розовая, лиловая... А там, в озере — остров, и с острова — дон-дон-дон... Будто звон колокольный слышен. Тут мама прибежала и давай меня ругать, что убежала-то я. А я ей говорю, послушай, какой звон. Она не слышит. Да вон же, говорю, с острова. Она и остров не видит... Так не знаю, что это было такое — видение или что... А на следующий день приехали в город. Там папа лошадь и телегу продал. Оттуда уже в Октябрьский и

приехали на поезде. Больше и не бывала я в Больших Дворищах...» Рассказывала сестра Елизавета уже незадолго до смерти — нестарая была, под шестьдесят, но ведь и прошло-то с того детского времени более полувека — вот ничего толком и не помнила.

Вооружившись картами, Дорогин понял, что озеро, скорее всего, Сухтинское — только вдоль него можно было сутки на телеге ехать... На районной карте (а в ту пору ее непросто было тоже достать, но достал через знакомых, в милиции — все-таки член Союза писателей) нашел и деревню...

И вот, наконец-то, собрался, поехал...

Сколько таких русских дорог прошел и проехал Олег Дорогин!.. Много. И все одно — лес, деревня, река, поле, снова лес и деревня. И когда глядишь на эти деревни, сами собой вспоминаются строчки: «Эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья...» И сейчас все как было при Тютчеве и, наверное, при Аввакуме и раньше...

Но вот за пустошами и кустами сталью запосверкивало справа по ходу автобуса Сухтинское озеро. А вскоре приехали в большое село Крутицы.

— Полчаса стоим, — сказал водитель, открывая двери автобуса и закуривая, не выходя из кабины.

Дорогин вышел: длинная прямая улица с избами и щитовыми двухквартирными домами. Отворотка, по одной стороне которой длинный забор из бетонных плит. Проходная. Табличка: «Крутицкий рыбзавод». А впереди стены, полуразрушенная башня даже, внутри виден обезглавленный храм. Видимо, тот самый монастырь, в котором, по рассказу сестры, ночевала семья по дороге в город.

Через разбитые ворота прошел во двор; храм — немой развалиной в центре. В пролом стены заглянул, и сквозь грязную побелку глянули прямо в него, в душу, глаза...

Дорогин вышел к озеру... Нет там никакого острова... Но откуда этот гул... Что это? Колокол?

И очнулся. От автобусной остановки доносился сигнал, водитель оповещал, что скоро автобус отъезжает.

Олег поспешно вернулся к автостанции, сел в автобус. И вскоре снова поплыли за окном поля, кусты, озерная гладь...

Еще через полтора часа он вышел в Семигорье, а автобус поехал дальше по дороге вдоль озера.

Дорогин знал, что отсюда дорога вдоль реки к деревне Большие Дворы...

Семигорье — село большое: на холме розовые развалины церкви, деревья, кусты — наверное, кладбище... Вдоль улицы, сбегаящей от холма к озеру, старые избы, новые дома, вон даже кирпичный куб стандартного для сельской местности всего Союза Дома культуры...

За крайними домами, через луговину дорога и в конце ее какое-то оживление — люди, голоса, черная машина «Волга», свежепобеленная стена...

— Мать, чего там у вас происходит-то? — спросил у старухи, стоявшей в проеме калитки.

— Да ферму новую открывают. Начальство приехало... Девки-то наши, выпускницы, остаться решили. Комсомольская бригада будет.

— Ясно. Хорошо. А как к Большим Дворам пройти?

— Так вот по этой дороге и придешь, — махнула старуха. И заинтересованно взглянула на него. — Ты чей же будешь-то?

— Дорогиных.

— Нет у нас таких, — сказала старуха, но Олег сделал вид, что не услышал, шел по грунтовой, укатанной колесами, утоптанной ногами дороге... Шел туда, где когда-то был и его дом.

Найдет ли там свою родину?

Вдоль реки, отороченной ивняком, мимо клеверного поля шел Олег Дорогин. И уже виднелись впереди, на невысоком пологом холме, дома.

И опять старуха у калитки стояла. Будто бы та же самая, что и в Семигорье.

— Дорогиных? — переспросила она. — Вон там стоял дом, дорогинским называли, кто там жил, я не помню, помню уж пустой дом. Потом школа была начальная, а старшие-то классы в Семигорье. А потом раскатали дом, не знаю почто... А больше никто не скажет ничего, я самая старая тут, так кто чего вспомнит, никто не вспомнит...

Дорогин слушал и не слушал ее, смотрел туда, где стоял когда-то родительский дом. Пошел, опустился прямо в траву. Еще угадывались гряды, выделялись более густой травой на унавоженной земле... И вот эти яблони, наверняка, еще при родителях были и при деде. Он поднял с земли мягковатое, безопасное для непрочных зубов яблоко и надкусил. Горькое.

Яблоко из дедовского сада —
Горькое, как родина без нас...

4

Утром первым, как часто бывало и раньше, в шесть утра пришел журналист «N-ского вестника» Валентин Огурцов. В очках, в помятом пиджаке и несвежей рубашке, щуплый, похожий на потрепанного воробья, стоял он на крыльце, дотягивал дешевую сигаретину. Жилкин увидел его через стеклянную дверь, открыл.

— Привет, Игорь. Хорошо, что ты сегодня. Чайку можно? — не скрывая похмельного состояния, говорил Огурцов.

Игорь налил ему чаю покрепче, сахара четыре куска в стакан кинул.

Огурцов быстро выпил один стакан и тут же сам себе налил второй, и пил уже не торопясь... Увидел свое отражение в старом настенном зеркале, болезненно поморщился. Но сразу же улыбнулся, невольно показав нездоровые зубы, увидев на диване кота.

— А-а, нагулялся... Я тоже. — Потянулся рукой к коту, провел ладонью по его спине, почесал за ухом.

Кот лениво прыгнул с дивана и пошел к своему блюдцу, в которое уже было налито молоко.

— Гордый. Я тоже... Хотя нет, я уже не гордый, — будто бы сам с собой разговаривал журналист.

— Ты бы, Валентин, как-то бы... Поберег бы себя, — посчитал нужным сказать Жилкин.

— Да-а... — махнул рукой Огурцов. — Ладно, спасибо, Игорь, пойду. К приходу редактора уже и сваяю, у меня заготовочка-то есть уже, есть, — Огурцов поднялся, но остановился, спросил еще: — Пишешь о Дорогине-то?

— Пишу.

— Знаешь, я об очень многих людях писал. И если брать поколение, у всех примерно одно и то же в судьбе есть. Ну, все родились, как-то учи-

лись, потом война, рано начали работать... Но вот кто-то всю жизнь пашет или кирпичи кладет, еще что-то. Но примерно одинаково у всех. И вдруг — поэт. Вот и Дорогин — ведь как все, типичная судьба, а как по-этом-то стал? Откуда чего взялось? Вот вопрос-то в чем!

Огурцов ушел. А Жилкин тоже задумался — откуда талант у человека? Каждому он дается (но не все раскрывают его), или только избранным? Тайна.

«И вся-то жизнь — от рождения до смерти — разгадывание тайны, — подумал. — А как разгадаешь, так, наверное, и помрешь».

Следующим, в полседьмого, пришел дворник (он же по совместительству электрик в этом здании и, наверное, еще кто-нибудь — столяр, сантехник) — подвижный, черный, похожий на жука мужичок, чувствующий себя, видимо, хозяином этого большого дома. У него было свое представление о порядке. И он его активно воплощал в жизнь. Деловито спросил у Жилкина, как дела, подмел тротуар у входа, и вот уже с ящиком инструментов пошел куда-то на верхние этажи.

С полвосьмого повалили работники офисов.

В семь сорок пять, как по расписанию, вошел редактор «N-ского Вестника» Пашулов, как всегда немного запыхавшийся и растрепанный. Не просто кивнул Жилкину, как обычно бывало, а руку подал.

— Здравствуйте, Игорь... э-э... — Он забыл отчество. — Хорошо, что вы... Новость... Вы, кажется, близки с Комаровым... Вчера только сестра его позвонила. Он умер, похоронили уже. Но надо бы некролог. К девятому дню успеваем как раз.

— А что с ним?

— Сердце.

И вот Игорь Жилкин пытался писать о человеке, с которым был знаком и даже, казалось, дружен несколько последних лет. Но, как оказалось, и знал его очень мало, и дружбой их отношения вряд ли можно назвать...

«Умер Станислав Комаров. Тут уж ничего не поправишь. Ушел человек, унес с собой тайну. Тайна же есть у каждого...»

Познакомились они лет пять назад в этой же редакции, в бухгалтерии, получали скромные свои гонорары. У Жилкина только-только стали публиковать работы о Дорогине. У Комарова уже активно публиковались прозаические и стихотворные пародии на местных авторов, весьма едкие, но и точные.

— Эта ваша заметка о Дорогине была в прошлом номере? — спросил высокий, сутуловатый, с короткой стрижкой, глубокими залысинами, с усами, прикрывающими усмешку, человек.

— Да. А вы Комаров? — Игорь видел графу, в которой он расписался.

— Да.

В тот день и завязалась их странная дружба. Зашли в рюмочную, взяли по сто граммов и по беляшу. Комаров, выпив, тут же и начал свой привычный разговор о местных авторах, бездарных, конечно же...

Жилкин спросил, каких же писателей тот уважает. Комаров ответил и даже прочитал стихи — Рубцова, Есенина, Бунина... Тут уж не возражишь.

— Ты смотри, как этот наш профессор-литературовед пишет, — ехидно ухмыляясь, подняв указательный палец, говорил Комаров: «Стремительное падение вниз», — делает паузу, проверяя, понял ли Жилкин, в чем тут дело. Жилкин понимающе кивнул и усмехнулся. — «Волнительно», —

продолжал перечислять профессорские литературные грешки Комаров. — И даже так написал в последней статье: «Сейчас, чтобы не казаться сухарем-ученым, я буду выражаться исключительно художественно!»

— Прямо так и написал? — удивился Жилкин.

— Да! Ты еще не видел? (Они уже были на «ты»). В «Литературном N-ске». Статья под поэтическим заглавием «Сегодняшний день N-ской литературы», как обычно у него — с эпиграфом, посвящением и вступлением от автора. — Усы уже не могли скрыть саркастическую усмешку Станислава Комарова.

Игорь не любил обсуждать людей за глаза, но... Он приходил к профессору Карташову в институт, в котором сам когда-то учился, на кафедру. Профессор Карташов (к тому же и член писательской организации, и редактор «Литературного N-ска»), прочитав его первые заметки о Дорогине, выдержавшая паузу (Жилкин помнил эту его манеру по учебе, тогда Карташов был еще молодым преподавателем), протирая стекла очков, щурясь, будто бы устал от чего-то, сказал: «Биографию может написать каждый более-менее грамотный человек... Анализа нет. Да и поэт малоинтересный, средний талант. Вот если бы анализ... В контексте бы, в сравнении...» Все это устало, протирая стекла очков.

Жилкин забрал свои бумаги и ушел, больше к Карташову не обращался. И сейчас, слушая Комарова, едкие его замечания, испытывал мстительное чувство.

А Комаров предложил еще «по сто». И вот тогда-то впервые Жилкин услышал, как Комаров рассказывает. В этом деле он был просто артистом.

— А помнишь «Золотую осень»? — кивнул он на стаканы.

— Помню, — понял его Жилкин, — но я тогда еще не употреблял.

— А я уже употреблял. Шли далекие восьмидесятые, первая половина, апофеоз застоя, расцвет загнивания... — Игорь впервые столкнулся с артистическим рассказчицким талантом Вячеслава Комарова и слушал его с удивлением (потом уже, в следующие встречи, не удивлялся, а слушал с удовольствием и даже сам подбивал его к этим рассказам).

— Тогда излюбленным напитком всех интеллигентов, пролетариев и крестьян была «Золотая осень», — продолжал Комаров. — Посредством этого дешевого, вкусного и абсолютно экологически чистого вина, наверное, и осуществлялась та самая «смычка». Было еще вино «Лучистое», кажется, один рубль и сорок с чем-то копеек стоило, тоже популярное, но ни в какое сравнение не шло оно с «Золотой осенью», которую мы любили не только за красивое название, но и за ее демократичную цену — один рубль двадцать семь копеек. Мы — трое студентов филфака (на семьдесят две женские особи) нашего доблестного пединститута, который, наверное, и ты закончил, лет так через семь после меня... — Жилкин в ответ кивнул, а Комаров тут споткнулся в своем рассказе, кивнул на стаканы, и они сделали по глотку.

— Если говорить о напитках, — снова заговорил Комаров, — то делали еще коктейль «кровавая Мери», наливали в стакан водку, упирали в дно стакана нож, и по лезвию ножа лили томатный сок, он выдавливал водку. Но это было долго — потом надоедало — и просто лили томатный сок, а поверх — водку.

— Мы тоже, — кивнул захмелевший Жилкин. Они махом допили водку, и Игорь пошел к прилавку, взял еще «два по сто» и вернулся к колченогому столику.

Комаров продолжил (по мере выпитого его рассказчицкий талант становился все более очевидным):

— Но — я возвращаюсь к золотой осени... Да — была золотая осень. Мы в тот день получили стипендию. А мы имели наглость получать еще и повышенные стипендии — сорок пять рублей. Бешеные деньги! И мы купили много «Золотой осени». Бутылочка, помнится, десять. Пришли домой к одному из друзей. Днем. Потому что родители до вечера на работе. Перед этим все мы прочитали Томаса Манна «Доктор Фаустус», и все были очень одухотворенные. Пьем, обсуждаем роман Томаса Манна... Ну, разумеется, от Томаса Манна к Герману Гессе, от Гессе к Прусту... Да, вот так — у нас семьдесят две девушки на факультете, из них семьдесят мечтают выйти замуж и остаться жить в городе, а мы трое — городские, о Томасе Манне... Правда, потом я на одной из тех семидесяти и женился. Тоже история... Вот ты пил водку, которая выдерживалась в туалетном бачке, в прохладной воде, летом? А на моей свадьбе это было. Восемьдесят какой-то год. Как положено: ЗАГС, памятник Ленину, цветы... И вот свадьба, в столовой. Напротив, между прочим, был пивной ларек — разливное пиво продавали в банки. Я студент-второкурсник. Жена тоже. Родители приглашали... Я половину гостей не знал. Сидим — перед нами шампанское. Вот времена были: жених и невеста — только шампанское. И вот сижу и гляжу, как другие пьют. А мне не наливают! Нельзя. И сам себе не могу налить — все внимание-то ко мне и к невесте. Ну, вышли покурить... Я тогда курил, а теперь вот бросил... Я однокурснику говорю: «Как хочешь — выноси». Он с заданием справился. Но ведь на улице тоже нельзя пить — увидят. Он мне говорит: «Иди в туалет». Я говорю: «Не хочу». — «Иди, дурак, там, наверху». Я пошел: бачок там на длинной трубе под потолком. Я достал, выпил, и обратно поставил. Потом еще раз сходил. И еще. Так и перенес это событие. Ну, потом и развод был... Ах, да! Золотая осень, Пруст... Пьем, в общем, о высоком беседуем. И вдруг один из нас говорит: «Муха!». И показывает. Точно. На бутылке, наполовину уже пустой — муха. И друг наш пытается эту муху убить. Но убийство не состоялось. Мы все отчетливо видим, что он бьет газетой по мухе, а она как сидела, так и сидит. Очевидный факт — по ней бьют, она сидит! Но почему она не убивается? И мы поняли — она внутри! Более того, мы поняли, что она погибла задолго до того, как мы ее увидели. Она была убита еще вместе с яблоками-падунцами, из которых гнали «Золотую осень».

Мы люди были молодые, крепкие, нас невымытые яблоки не пугали. И все же воспитание не позволяло нам есть, например, суп, если в нем плавают муха. Но... Это была «Золотая осень»! Не суп. Поэтому мы решили — раз уж половину выпили, то и вторая проскочит. Мы разлили остаток и выпили за ту муху. Так она там на бутылке и осталась. Она была му-ми-фи-ци-ро-ва-на. Или, скорее, заспиртована. Свидетельство о смерти мы выписывать не стали.

Славные были времена — несмотря на мух и прочие неприятности, которых почему-то теперь стало больше... Ну, давай еще по сто!

Вот таким первое знакомство с Комаровым было. И потом встречались изредка, разговаривали. Узнал Игорь, что Комаров помимо «педа» окончил еще и Литературный институт, но в Москве не зацепился, местные писатели тоже его не приветили. Вот и громил «провинциальных писак». Это ему так казалось, что «громил», на самом деле — многие ли читали-то

его пародии?.. В семье тоже что-то не складывалось у него; да он, вроде, и не женат был на момент их знакомства.

— А ты свое стихотворение прочти, — попросил как-то его Игорь. (Все в той же рюмочной, за тем же одноногим столом стояли).

— Да нет, я... Я стихи бросил, только пародии... Я прозу...

— Ну, дай прозу почитать. Ты свои эти истории-то записываешь?

— Ну, еще записывать. Вот слушай. Закончен второй курс. Июль, день рождения. Мой. Мама накрыла стол. Друзья-однокурсники скинулись, подали мне — ты помнишь — четыре двенадцать. На бутылку. Водки. Я побежал, чтобы к приходу друзей уже купить. Бегу — через улицу, через городской рынок. И там — лоток лотереи «Спринт». Помнишь такую? Пятьдесят копеек билет. И я понимаю, что у меня ровно четыре двенадцать, что если я куплю за пятьдесят копеек билет, то у меня на бутылку-то не хватит. Друзья бы мне, конечно, простили, но осадок бы остался... И я все-таки достаю эти пятьдесят копеек. «А вдруг, а вдруг», — в голове стучится. Подаю деньги, беру билет, разворачиваю — червонец! Десять рублей. А до двадцати пяти рублей выдавали прямо на месте. Я понял — это удача, это мне на день рождения подарок судьбы. А весь червонец-то мне мелочью выдали — пяташки, десятунчики. Полные карманы. Я прихожу в магазин. Там, как всегда, ажиотаж. Все дороги в этот магазин ведут. И тут я, дождавшись своей очереди, высыпаю деньги на пластмассовое черное блюдо. Продавщица смотрит на эту мелочь с ужасом: «Вы что, — говорит, — на паперти стояли?» Я с достоинством отвечаю: «Нет. Я выиграл в лотерею «Спринт». А сзади разгоряченная очередь алчущих «Золотой осени», «Кавказа». И вот продавщица считает. Ничего — выдержали и алчущие, и я. Это я к тому, что есть в жизни счастье, удача. А вот еще, слушай... — и он опять рассказывал, выпивая и закусывая беляшом, и Жилкин слушал, и опять было интересно...

— Что такое экватор, мы знали из уроков географии, все увлекались путешествиями, читали приключенческую литературу. А что такое «студенческий экватор», узнали от своих друзей, которые имели счастье учиться в Москве, в Питере... В нашем городе это как-то не практиковалось. «Студенческий экватор» — это середина учебы. Поскольку все учились по пять лет — экватор у них приходился на зиму. И только филологи — четыре года, видимо, считалось, что русский язык и литературу можно и за такое время познать. Особенно нас поразил и вдохновил рассказ одного бывшего одноклассника... Однажды студенты одного вуза отмечали экватор в гостях, в Выборге. И упились так, что им пришла в голову идея пересечь границу, проверить бдительность и наших, и финских пограничников. Была зима. Они спросили у местных, в каком направлении Финляндия, и пошли. Леском, перелеском — идут. Самое интересное — дошли. В какой-то деревне им ответили по-фински. И они вернулись обратно... Конечно, никуда они не ходили, скорее всего, привирал наш одноклассник. Но на нас этот рассказ произвел впечатление. И вот в середине июля я и два моих однокурсника решили отметить экватор. До границы от нас далеко. Но мы все-таки решили как-то оригинально отметить это событие. Под залог паспорта взяли на лодочной станции лодку и поплыли вверх по течению. Естественно, с собой мы уже взяли... Поплыли. Но сразу же и прикладываться начали. Нам весело. Портвешок — экологически чистый. Гребем через раз. Поэтому через три часа были только в районе пивзавода. А уже все кончилось. Но ведь там магазин-то близко. Причалили. Одного оставили, вдвоем пошли. Еще взяли.

Приободрившись, двинули дальше. Здесь уже у меня в памяти полумрак... Мы возвращаемся обратно — нам весело, нам хорошо. А уже и домой захотелось, а лодка еле-еле движется. И чтобы ускорить процесс, мы сели по человеку на весло, а третий у нас считает, ритм задает. И в районе того же пивзавода у нас ломается уключина. Еще пилить и пилить до лодочной станции. Может, мы и бросили бы свою «галеру» — да ведь паспорт в залоге. А ведь и лодочная станция-то не до ночи работала. А на ночь паспорт там оставлять не хотелось. Было ведь все-таки такое трепетное отношение к документу, «Стихами о советском паспорте» воспитанное... Так вот — одна уключина сломана, весло парализовано. Да и мы-то сами — полупарализованные. Ну, тут мы и вспомнили, что можно, встав в лодке, грести и одним веслом, как на каноэ. Но если мы в нетрезвом виде и на фундаментальной поверхности себя неуверенно чувствуем, то на лодке... Один из нас попробовал и упал в воду. Мы его спасли. Ну, кое-как до города уже добрались по течению-то, и тут решили от балласта избавиться. И того, что выпадал за борт, высадили. «Иди, — сказали, — берегом, заодно и просохнешь». И правда, плыть стало полегче, доковыляли до лодочной станции, сдали лодку, забрали свой паспорт и оказались свободными. Ждем нашего друга-пешехода. Тут же, у лодочной. А у нас еще оставалось... Ждем. А там идти-то ему было — пятнадцать минут максимум. Полчаса нет, час нет, смеркается... Часа два ждали. Рукой махнули и разошлись по домам. Утром друг приехал ко мне домой, и мы решили съездить к третьему, который пропал. Приехали. Он дома. Оказалось — когда он вышел из лодки и шел аллежкой вдоль берега, его встретили милиционеры, и переночевал он в вытрезвителе (о чем я, честно говоря, и догадывался). Вот так мы отметили наш студенческий экватор. Отмечают ли нынешние-то?..

Жилкин слышал и другие рассказы Комарова, но, так как случались они всякий раз после получения гонорара, Игорь стал со временем отказываться от посещения рюмочной (надо было ведь что-то и домой принести, показать жене, что его газетные публикации не только время отнимают, но и деньги приносят). Но он настоятельно советовал Комарову записать эти истории; тот, кажется, ничего не записал. Продолжал пародировать местных писателей...

А месяца четыре назад они поругались. Комаров пришел к нему на работу, вечером. Не полагалось никого впускать в здание после закрытия, но Жилкин нарушил инструкцию. Пили в охранный чай.

— Вот уже на книгу материала-то набрал, — похвастал Жилкин, показывая тетради и газеты с публикациями.

— Да кому это надо... — скривился Комаров.

— Ну, хотя бы мне. И еще некоторым людям. Дорогина многие читают.

— Да брось ты... Все уж забыли.

— Ну вот, чтобы помнили, — еще сдерживал обиду Игорь Жилкин.

— Да такой же, как и нынешние, провинциальный писака. У нас в каждом дворе свой поэт, так всех и помнить?! — Комаров говорил особенно раздраженно, зло.

— Да, всех и помнить, — сказал Жилкин. — Уходи, — добавил.

— «Струны настрою на нежность. // Душу на правду настрою», — дурашливо продекламировал Комаров строчки Дорогина (память у Комарова удивительная была).

— Уходи.
— Чего?..
— У-хо-ди.

— А-а... — Комаров поднялся, натянул вязаную черную шапку-облипуху, рывком застегнул замок-молнию на потерятой зимней куртке. Вышел.

Так и запомнил его Жилкин: сутулая фигура в свете фонаря, в мельтешении снежинок... Больше не виделись.

И вот теперь он пытался писать некролог...

«Умер Станислав Валерьевич Комаров. Тут уж ничего не поправишь. Ушел человек, унес с собой тайну. Тайна же есть у каждого...»

Станислав Комаров был литературно одаренным человеком, писал стихи и прозу, закончил Литературный институт имени Горького в Москве. Его первые публикации в местной прессе появились около десяти лет назад. Столичные журналы не баловали провинциального автора — это ныне судьба многих талантливых писателей из глубинки.

Станислав был и страстным книгочеем, знатоком литературы.

Своим талантом и знаниями он щедро делился с людьми. Читатели высоко ценили его острые, точные пародии...»

Жилкин вымучивал из себя этот некролог. Писал сухие, усредненные слова. Но и живое чувство вины и сострадания просило слова.

«Как жаль, что не ценим человека, когда он рядом, не стараемся понять, вникнуть в его проблемы, посочувствовать, забываем, что человек не просто смертен, а внезапно смертен.»

К сожалению, так получилось в моих отношениях со Станиславом Комаровым. Мы поссорились во время последней встречи и теперь уже ничего не поправить.

Но долго (а надо верить, что и вечно!) звучит человек, оставивший сей мир — его голос, его слово, дело, мысль...

Ведь человек со своей личной тайной, со всеми своими родными, предками и продолжателями рода (тоже имеющими свои тайны), человек со всем этим — бесконечен. Человек — одна из форм бесконечности в вечности...»

Писал Игорь Жилкин уже что-то совсем и непохожее на некролог.

Он наострил за годы работы здесь писать или читать что-то и одновременно наблюдать за входом, за всем, что делается в широком вестибюле, за лестницей, уводящей на этажи, полные кабинетов. И этого мужика сразу вычислил.

— Мужчина, — Игорь вышагнул из-за своего выгороженного стойкой стола, — вы к кому?

— А тебе чего?

Мимо них шли люди — на работу, по делам, входили и выходили, доводчик мягко возвращал дверь в исходное состояние...

Лет тридцати, с шишкастой коротко стриженной головой и совершенно пустыми, мутными глазами, в майке и джинсах, коренастый, с какой-то наколкой на толстом плече, взглянул на Жилкина, ухмыльнулся.

— Вам кого? По-моему вы пьяны, выйдите, пожалуйста, — стараясь голосом и внешним спокойствием придать весомость словам, сказал Игорь.

Мужик скривился и полез в задний карман джинсов, и плоский небольшой нож уже был в его руке, и лезвие уже готово было по одному его движению вылететь из рукоятки...

— Я иду к своей бабе. А ты кто, а? — говорил он хрипло и вызывающе.

Ночью здание ставится под охрану, есть «тревожная» кнопка, а сейчас... Вот что сейчас делать? Кричать, чтобы вызывали полицию?..

— Вы совершаете ошибку... — стал говорить Жилкин, глядя ему в глаза, но в глазах ничего, кроме презрения, не отражалось.

«Перехватить руку, выбить нож, подножку сделать...», — в голове Жилкина прокручивались приемы, которые он теоретически знал, но практически никогда не делал. Да и не перехватить ему такую руку, и подножку вряд ли...

Входная дверь распахнулась, и вошли двое полицейских. Мужик как-то почувствовал, что ли, их, обернулся сразу и поднял руки (нераскрытый ножик оставался в правой):

— Все, все, сдаюсь.

Подхватили его, руки за спину, нож забрали.

— Спасибо, что придержали. Мы от остановки за ним шли и чуть не упустили, — сказал один из полицейских (немолодой, лениво-спокойный) Жилкину.

А второй (весь квадратный от распирающих его мускулов) рывком приподнял заломленную руку злодея, так что тот вскрикнул.

— Давай, пошел! — повели его к выходу.

Дверь мягко закрылась, и будто и не было ничего. Вся эта сцена длилась-то минуты две.

Игорь вытер пот со лба рукавом форменной черной куртки, вернулся на свое место.

Вот так, запросто, могли его убить или отправить в больницу. И он, Жилкин, ушел бы со своей недописанной книгой, не побывав на родине отца и матери, не успев поднять сына.

Хотя, скорей всего, ничего бы и не было. Ну, повыступал бы этот архаровец, да и ушел бы. И ножик у него почти игрушечный... «Да ты, Жилкин, прилично струхнул», — сам о себе иронично подумал.

5

Ко времени, когда пришел сменщик, кое-как вымучил некролог. Все лишнее для газеты (но на самом-то деле — главное) откинул. Остался обычный траурный текст.

Отнес исписанные листки редактору. Тот быстро просмотрел:

— Отлично, спасибо, сейчас отдам в набор и на верстку.

Попрощался со сменщиком — уныло-серьезным Николаем Петровичем. Тот, перед тем, как расписаться в журнале о приеме смены, проверил — все ли сданы ключи. «Лампочка в коридоре на втором этаже перегорела», — недовольно сказал. Жилкин не ответил ему, и тот поставил в журнале подпись.

Игорь посмотрел на часы. Лена на работе еще наверняка. Андрей... «Да, надо бы поговорить нам. Или что-то вместе сделать. В отцовскую деревню, например, съездить», — подумал. И тут же понял, что не поедет Андрей с ним в деревню... А может, поедет?

А сейчас он сам поехал, на кладбище. На новое большое кладбище на окраине города. Еще сохранился один полуразваленный дом у кладбищенской ограды. Мертвые потеснили живых — кладбище на месте брошенной деревни.

У входа целый рынок — искусственные цветы на все вкусы. Что-то балаганно-ярмарочное...

Пошел на самый дальний край кладбища. Тут могилы молодые, заваленные еще невыгоревшими на солнце венками. Желтая, мягкая после вчерашнего дождя глина.

Недолго искал, нашел. Белый, пахнущий смолой крест, аккуратно ухлопанный лопатами холмик. На фотографии за стеклом усмешка в усах Станислава Комарова. «Упокой, Господи, упокой...»

Постоял, помолчал и пошел...

«Брожу меж могил,

С молчанием

Молчаливо беседую...», — вспомнились строчки Дорогина.

На одной могиле привлекла внимание надпись на камне, подошел, прочел: «Граждане, не гордитесь, помяните мой прах. Я уже дома, а вы в гостях».

Да, конечно — общий небесный дом. Но для всех ли откроются двери его? И дом небесный не с земного ли дома начинается? «А где мой дом?!» — опять пронзила мысль.

Елена была дома.

— Что-то поздно.

— Это ты что-то рано.

Потом Игорь и Елена сидели в комнате перед телевизором, Андрей в своей — за компьютером.

— Хочу до деревни доехать, где отец жил.

— А чего там?

— Наверное, ничего... Андрея хочу позвать.

— Позови. А чего там? — опять спросила.

— Не знаю. Отец жил, когда ушел от нас, я ездил к нему...

— Да, ты рассказывал. Съездите, конечно. А когда?

— Можно послезавтра. На автобусе. Посмотрим, да и назад.

В телевизоре шла передача, в которой на весь мир говорили о том, в чем самому близкому человеку бывает сложно признаться... С наслаждением старого сплетника, косноязычный, через каждое слово «мэкающий», ведущий передачи допытывался, кто там кому изменял в семье...

— Тебе интересно?

— Да я и не гляжу.

Переключил — тут очередные «менты» кого-то ловили...

— Оставь...

Оставил, поднялся из кресла. Заглянул в комнату Андрея:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, папа.

Елена долго разговаривала с кем-то по телефону. «По работе». Потом снова смотрела телевизор и вязала.

Игорь освободил стол на кухне, разложил свои бумаги...

«Мать работала на железной дороге, старшая сестра Елизавета, окончив в 1942 году седьмой класс, пошла работать в госпиталь санитаркой. В 1944 году умерла от тифа младшая сестра Женя. Переболел тифом и Олег. Он учился в поселковой школе. Судя по сохранившимся похвальным листам — учился хорошо. (Документы и немногочисленные фотографии того времени сохранились благодаря Елизавете, затем она передала

их дочери поэта Юлии). Правда, пропустив из-за болезни несколько месяцев учебы, остался на второй год в пятом классе...

Конечно, не только Дорогины, все жили бедно, трудно, но и помогали друг другу, как могли, поддерживали.

Все жили бедно, да не скрытно.
Всем было трудно, да не стыдно,

— писал поэт о том времени».

Отец Жилкина примерно одного возраста с Дорогиным был, рассказывал немного (он вообще мало чего рассказывал) о том времени:

— Летом ягоды, огород да река спасали немножко хоть. А зимой — хлеб Галка (сестра) выкупит, принесет домой, спрячет и уйдет в госпиталь. А я найду — свою часть съем (никогда весь не съедал, терпел). Вечером мать с Галкой придут, а у меня уж нет хлеба, ну — мать свой отдает, не берешь, не берешь, да и возьмешь... Огород весной по десять раз перекапывали, и ведь каждый раз хоть три-четыре картошины да найдутся... В четырнадцать лет на завод взяли учеником слесаря — полегче стало...

«Спасение — река и лес, да доброта людская», — подтверждал Дорогин слова отца.

«В 1947 году в семнадцать лет Олег Дорогин надолго покидает родной дом на станции Октябрьская. Сначала поступает учиться в ФЗО (на столера), а затем уходит в армию.

По воспоминаниям самого поэта — первое «профессиональное» стихотворение он написал именно во время учебы в ФЗО. Оно было опубликовано в училищной стенгазете. Текст этого стихотворения не сохранился, но можно предположить, что это то самое стихотворение, которое было опубликовано в том же году в областной молодежной газете в коллективной подборке «Молодые голоса». Вот это стихотворение:

НАШЕ ЗНАМЯ

Здравствуй, мир,
Большой и светлый.
Все дороги перед нами!
Победившая страна,
Высоко вздымает знамя.
Знамя счастья,
Знамя славы,
Знамя нашего труда.
Это знамя молодые
Не уронят никогда!

В этом стихотворении еще сложно узнать будущего лирика и философа. Хотя уже в то время в его записной книжке, сделанной из расстриженной надвое школьной тетради (поэт вспоминает об этой первой записной книжке в одном из писем), появляются и такие строчки:

В этом страшном и бешеном мире,
Как живу? — нелюбим, не любя.
Да, я в вечном, безумном побеге
От себя в самого себя!

Оказывается, не такой уж и добрый мир окружал молодого поэта.

К этому же времени относится первая и, как водится, несчастная любовь, породившая множество, в большинстве своем, очень слабых стихотворений.

Весной 1949 года Олега Дорогина призвали в армию. «Первые три месяца нас просто откармливали. В армии я впервые вдоволь наелся хлеба», — вспоминал гораздо позже поэт в одном из вариантов так и не дописанной художественной автобиографии.

В армии он тоже писал — его стихи сначала украшали ротный «Боевой листок», а в последний год службы уже печатались и в окружной газете (это был серьезный успех молодого поэта). Отправлял он стихи и в журнал «Советский воин», но там они не были напечатаны. Хотя в ответном письме редактор отдела поэзии отметил талант Олега Дорогина и посоветовал ни в коем случае не бросать писать стихи, а искать свою тему, свой поэтический голос и обязательно после демобилизации заниматься в каком-нибудь литературном объединении, а затем попробовать поступить в Литературный институт. Скорее всего, именно тогда Олег Дорогин узнал о существовании в Москве Литературного института имени Горького.

Его армейские стихи отличались пафосом советского патриотизма, показной бодростью и явной надуманностью. Но в это же время Дорогин писал и другие стихи. Настоящие.

Например, вот это (неопубликованное, но приведенное самим Дорогиным в поздних дневниково-воспоминательных записях), уже вполне «дорогинское», если еще не по исполнению, то по внутреннему наполнению, стихотворение:

* * *

День за днем,
За ночью ночь —
Жизнь моя уходит прочь,
Улетает.
Для чего, зачем живу? —
Даже сам я не пойму.
Кто же знает?
Но если все же я дышу —
Для чего-то я дышу!
Для чего-то я живу...
Кто-то знает.
Я дышу и я живу,
Я пойду, а не уйду —
И узнаю!

Вот, пожалуй, это страстное желание узнать и познать тайну жизни и жизненного предназначения — и есть главная тема Олега Дорогина.

Не случайно же и главная, итоговая книга Дорогина, написанная и собранная им в последние годы жизни, а изданная уже после его ухода, называется «Тайна»...

Отслужив в армии, Олег не возвращается домой. Начинаются его скитания по стране».

- Андрей, поедешь завтра со мной?
- Куда?
- Да в деревню, где дед твой жил, я тебе рассказывал.
- Так учеба же...
- Пропустишь день, ничего...

Андрей задумался и ответил явно разочарованно:

— Нет, пап, не смогу. Годовая контрольная по русскому. Я бы с удовольствием. В другой раз.

— Ну, ладно. Я тогда пока что на разведку съезжу, а потом мы вместе махнем. Может, и порыбачим.

То, что сын не просто отказался, а отказался по веской причине, успокоило Игоря Жилкина. Значит, не так уж все и плохо, значит, не все безразлично Андрею... А еще подумалось, что быстро же он забыл, когда бывают годовые контрольные по русскому, а ведь сам десять лет был учителем русского и литературы.

Жена уехала на работу. Андрей ушел в школу. А у Игоря два выходных. Завтра он съездит в деревню. А сегодня...

Сегодня он пошел снова на кладбище, на другое — не на то, где бабушка, и не на то, где похоронен Комаров. На «Советское» (так называют его в городе) кладбище. Оно появилось в советские (50-е) годы и лет десять как закрыто для захоронений. Здесь отец и мать. В разных концах. Отец умер намного раньше матери, в деревне, но похоронили здесь.

В последние дни — все по кладбищам ходил Игорь Сергеевич Жилкин. Так получилось. «Любовь к отеческим гробам...»? Может, это и любовь — неодолимое желание проникнуть в тайну жизни и смерти.

Сначала к матери — прибрался на могиле. Потом к отцу...

Почему отец ушел, уехал в деревню? Не ругались они с матерью. Они даже и не развелись официально. Просто однажды восьмилетний Игорь заметил, что папы нет дома уже второй день. «Он в деревне теперь будет жить. Мы скоро поедem к нему в гости», — сказала мама. Игорь воспринял это тогда как должное. Даже не очень и скучал. Он и раньше-то нечасто отца видел. Утром мама уводила Игоря в садик или отправляла в школу — отец уже ушел на работу. Вечером же отец или делал что-то в сарайке, или топил печь, сидел и глядел, молча, на огонь. В выходные уезжал на охоту.

Отец любил и часто напевал романс: «Гори, гори, моя звезда...» Выпивал, но как-то это не замечалось особо. Или это только он, Игорь, не замечал?

И вот отец купил дом в деревне и уехал туда жить. Наверное, он звал с собой мать, а она не поехала...

Пять лет подряд он ездил к отцу. Мать привозила его, жила там два-три дня и уезжала. А он жил там с отцом все лето, и все зимние каникулы, и осенние, и весенние... Друзья там у Игоря были. И отец-то в деревне, кажется, разговорчивей был. Брал с собой в лес (он в основном охотой там занимался), на рыбалку с ночевкой ходили.

...И на следующее утро, сидя у окна в междугородном автобусе, все думал об отце, о деревне. Когда отца не стало, Игорь несколько лет не ездил туда. Когда окончил школу, захотелось посмотреть, что там, в деревне, съездил. В доме жил чужой человек. Друзья деревенские поразъехались.

Потом еще через несколько лет бывал Игорь в той деревне. Дом уже стоял пустой, как и многие другие дома. Доживали там одни старики. Вот с тех пор, двадцать лет, не бывал...

За окном зеленеющие поля, луга в молодой траве, лес, деревни, названия которых он давно уж забыл... Но, оказывается, не забыл. Он смот-

рит вперед, в лобовое окно автобуса — дорога наплывает, и одновременно все бежит вперед, к горизонту, к небу...

Вспоминаются стихи Дорогина:

Все реки и дороги
Впадают в небо.
Земля сольется с небом,
Как жизнь со смертью.
А я опять сегодня
Куда-то еду...
Иду своей дорогой.
Дорогой в небо.

...Роса еще не обсохла на траве в тени старых яблонь. Яблони приземистые, разлапистые, в морщинистой коре. Листва на них редкая. Но завязи плодов видны на корявых ветках. Там, где был дом, густо растет крапива и уже набирает цвет иван-чай... Нет дома. И от всей-то деревни два дома остались. К одному из них свежий автомобильный след, отпечатавшийся на старой, затравяненной дороге... По краю дороги — синие цветки, незабудки.

Иван-чай, дай напиток мне чаю.
Крапива, окропи жгучей росой.
Незабудки, не забываетесь...

Всего в три строчки стихотворение Дорогина. Называется «На родине»...

Вот оно — родное пепелище. Не менее родное, чем тот дом в городе.

Пошел по машинному следу. «Нива» стояла во дворе. Тут же детская коляска, закинутая марлей от комаров и мух.

А на крыльце сидит... Да ведь это Валька Копытов!

Ну да, это ж их дом. Когда нет рядом других домов, заборов, сараев — не сразу и узнаешь место.

Но это же точно Валька... Или...

— Валентин, — окликнул негромко Жилкин. Медведеподобный мужик с обширной лысиной, в старой футболке, каких-то коротких штанах (или длинных трусах), босой, оторвал глаза от газеты (похоже, что кроссворд отгадывал), взглянул на Игоря, поднялся, разводя руки:

— Игоряха!

Обнялись.

— Какими судьбами? — спросил Копытов.

— Так, захотелось вспомнить...

— А мы на дачу... Родной дом — дача, — сказал Валька и криво усмехнулся.

— Это твой? — кивнул Игорь на коляску.

— Моя, дочка. Решили с женой, — усмехнулся и подмигнул, — Снегурочку слепить. Старшему-то шестнадцать... Вот жена, Ольга, знакомьтесь...

Маленькая и крепкая, немолодая уже, симпатичная женщина в синем спортивном костюме и белой косынке вышла через калитку из огорода, кивнула Игорю.

— Здравствуйте, — сказал Жилкин. Что-то смутно-знакомое было в лице и фигуре женщины.

Девочка тут подала голос, и мать стала качать коляску. Мужикам сказала шепотом строго:

— Идите в дом.

— Мы лучше в огороде посидим, — ответил Валентин.

Но в дом зашел, вернулся с бутылкой и блюдом, на котором были хлеб и соленые огурцы и две стопки толстого стекла.

Жена его кивнула:

— Ты смотри, немного.

— Да тут по глотку.

Бутылка, и правда, была неполная...

...И вот когда она кивнула, Игорь вспомнил ее. К Бугровым приезжала одно лето эта девочка. Все они тогда переругались из-за нее, а она то одному вот так строго кивнет, то другому улыбнется, то с третьим на велике в поле за горохом поедет... Один случай особенно ярко вспомнился: купались в большому пруду, а Оля в купальничке своем сидела на берегу, загорала...

— Я быстрее всех на тот берег переплыву! — сказал один.

— Еще чего, — сказал второй.

И оба посмотрели на третьего и сказали: «А ты вообще не умеешь!»

Третьим был Игорь.

— Я не умею?! Поплыли!

— Вы осторожнее, — сказала Оля и кивнула.

В тот день он научился плавать. (На самом деле уже умел, но боялся глубины). Несколько раз плавали мальчишки туда-обратно, и каждый раз другой первым был.

Оля смотрела на них, смотрела, потом прыгнула в воду: «Вот как надо!» Она в городе-то плаванием занималась в бассейне.

Потом Игорь перестал ездить в эту деревню. Неужели Ольга его не помнит? Неужели Валька не помнит, что они знакомы?.. Впрочем, какое это имеет значение. Мало ли пересечений в жизни, мало ли с кем знаком был мельком. Но ведь ничто в жизни не случайно, уж тем более не случаен ни один человек... Вот с Валькой меньше всех он в деревне гулял-дружил, а сейчас только Валька тут и остался. И Ольга...

Сели на скамейку у нагретой солнцем задней стены дома. Бутылку и снесь между собой на скамью поставили. Впереди грядки с кой-какой уже зеленью. Дальше, за неплотным забором высокая трава, которую некому косить, кусты, мелколесье, вплотную подступившие к бывшей деревне.

Выпили, закусили. Тут содержимое бутылки и кончилось, Валентин тоскливо потянул из кармана сигареты.

И Игорь, как фокусник, достал из сумки чекушку, с коротким треском свернул крышку:

— Давай!

Валентин оглянулся на калитку во двор и торопливо подставил стопку.

— А мы ведь, помню, — говорил он, — все не могли понять, что за человек отец-то твой. Приехал, в совхозе не работает, сам по себе все...

— Я и сам-то не могу его понять, — ответил Игорь. — Вот думаю, чего он тут, в чужом месте, решил дом купить, мог бы поехать туда, откуда его отец, мой дед. Далековато, но зато родина...

И тут Валентин подсказал ему простое и единственно верное решение этого вопроса:

— Так из-за тебя да матери и не уехал. Тут вы сели на автобус и через час у него, а туда бы, может, и не приехали бы... Он, батя-то твой, с головой мужик был и с руками. Это сначала к нему все присматривались,

а потом-то своим стал — и в технике разбирался, и кому дрова распи-
лить — «Дружба» была... Безотказный. Но в совхоз так и не пошел.

— Ему охота нужна была, лес... — Игорю нравилось, что об отце вот
так уважительно говорят.

Еще выпили. Валентин закурил, протянул пачку Жилкину.

— А я не курю, — отказался Игорь. — Бросил.

— Ну, молодец. А помнишь, как собирали чинарики на остановке и
потом вон там, за овином, курили?

— Помню, как же. Как вы меня в первый день чуть не побили, тоже
помню.

— Ну, это мы тебя, городского, проверяли. Молодец — не побежал...

— А в том-то доме кто живет? — кивнул Игорь на второй, оставший-
ся от деревни дом неподалеку, осевший в землю, кособокий, дверь в ко-
торый, как в те, прежние времена просто приперта батошкой — значит,
нет дома хозяев.

— Дак Мария Гусева, забыл, что ли? Бригадирша-то. Доживает одна
тут. Я ей привожу кой-чего, а так — не знаю, чем и живет. С головой у
нее уже... — покрутил пальцем у виска. — Да и еще бы — ведь двое сы-
новей у нее на кладбище тут. Оба неженатые были. Да ты помнить их
должен. Миха утонул по пьяни, Женька в молоковозе перевернулся, тоже
нетрезвый, конечно.

— Да, помню ее. И сыновей ее помню.

— Вот судьба — Женька из Афгана живым пришел, здесь по дури
погиб, Миха в Чечне был и тоже здесь...

Жилкин покачал головой.

Еще выпили.

— Помнишь, посадили вы меня на конные грабли? — спросил
Игорь. — Вон там где-то поле было...

Валентин махнул рукой, сдерживая смех, проговорил:

— Тебе ж сказали — натягивай вожжи.

— Да, сказали вы... Я тяну, а она, лошадь-то, своей дорогой идет.
Копну разворотил. Гусева бежит, орет. Мужики матерятся...

— А мы, еще Витька был да Миха, сидим в кустах, ржем...

— Да уж, поиздевались над городским... Миха, значит, утонул. А
Витька где?

— Не знаю. Говорили, что на сверхсрочную остался, на флоте, на Се-
вере где-то... Все, все — или в землю, или — по городам.

Ольга с ребенком на руках уже заглядывала к ним, но ничего пока
не говорила.

Игорь и не стал ждать, когда скажет.

— Ну, пойду я, Валентин. До речки еще дойду. Надо на обратный
автобус успеть.

— Так я довезу...

— Не надо. Бывай.

Пожали руки, расстались.

К реке путь через кладбище. Тропка натоптана. На горе, между со-
сен — оградки, кресты, пирамидки со звездочками...

В одной ограде два креста, на скамейке старуха в темной одежде.

Жилкин хотел незамеченным пройти, но она подняла голову, взгля-
нула на него.

— Здравствуйте, — сказал Игорь.

— Здравствуй, парнек. Ты чей же будешь?

Остановившись, Игорь ответил:

— Сергея Жилкина, из города...

— А-а... — кивнула старуха и больше ничего не сказала, отвернулась, в свое ушла.

По тропке (кто-то и к реке ходит) Игорь спустился с кладбищенского холма к береговым кустам.

Речка узкая, мелкая на перекатах. Вдоль берега, безнадежно пачкая ботинки в вязкой земле, Жилкин прошел к круглому, похожему на озеро, бочагу. Здесь и глубина есть, и рыба всегда была.

Вот тут был шалаш, в котором ночевали с отцом.

Горел костер, искры взлетали к небу, сливались со звездами, крышка закоптелого чайника подпрыгивала, пена из носика лилась на горящие сучья. Отец отставлял чайник, клал в него смородиновые листья.

— Папа, а как ты думаешь, на других планетах есть жизнь? — спрашивал Игорь, глядя в ночное небо.

— Может, и есть, а может, нет. Нам бы на своей планете научиться жить, — отвечал отец. И было немного обидно, что он так коротко и неопределенно отвечает. И все равно хорошо, очень хорошо.

Прошли годы и уже его сын, Андрей, точно такой же вопрос задал. И ответил Игорь ему так же.

Жилкин пошел от реки, снова поднялся к кладбищу. Смоляной ладанный дух окутывал могилы, с холма открывалась даль: луга, лес, белые копы облаков...

Старухи у могилы уже не было.

Игорь, не заходя в деревню, вышел к дороге, долго чистил травой ботинки, оттирал глинистую грязь, сел в подошедший автобус и уехал в город.

Приехав из деревни, Жилкин отложил в сторону биографию поэта Дорогина и записал все, что помнил об этой деревеньке.

7

Говорково...

А где моя родина? Ну, если говорить не обо всей России, а о так называемой малой родине? В окраинном районе N-ка? Да, там, конечно...

Но и в деревне Говорково, в 40 километрах от города. Там, в Говоркове, были долгие счастливые дни, была дружба, был отец. Поле, лес, речка Еза... Все это осталось во мне, кажется, даже в большей степени, чем город, в котором все-таки больше жил.

А ведь нет уже Говоркова-то. Последняя жительница там еще доживает, последние «дачники» приезжают в родительский дом. Пройдет не так уж и много времени, и, наверно, не будет на месте Говоркова ничего... Еще тридцать лет назад я приезжал туда, жил там все лето, купался, ходил за грибами, пил парное козье молоко, за которым ходил в соседний дом к тете Сане Палкиной.

И сто лет назад жили там люди, и пятьсот... И что же — не станет Говоркова, и все? Просто так не станет? Ну, пусть хоть останется память. Память не умирает! Память обладает волшебным свойством возрождать и возвращать прошедшее и даже, казалось бы, уже насовсем ушедшее. Для памяти и пишу.

Говорково вовсе не «родовое гнездо» наше. Туда, купив дом, уехал жить отец (раньше он уже ездил в те места на охоту). Мы с матерью остались в городе.

В городе, дома, у нас были книги. Был, например, сборник «Подорожники» Рубцова, который я уже гораздо позже прочитал и оценил. А тогда любимыми были «Рассказы о животных» и «Маленькие дикари» Сетон-Томпсона.

Отец, уезжая жить в деревню, кажется, ничего не взял из домашних книг. А ведь я помню, что он читал, я часто видел его с книгой. Да он ничего не взял, кроме ружья и собаки.

В деревне был старый учебник астрономии для 10-го класса, из которого я переписывал параграфы, разлиновав страницы в альбоме для рисования. И там же я рисовал «созвездия» — звезды, похожие на снежинки, соединял чернильной линией в фигуры. Играл в астронома.

Еще была в отцовском доме книга Вольтера «Кандид» с обшарпанной серой обложкой и несколькими вырванными страницами, которую я пробовал читать, но не смог. Как, почему там были эти книги? Загадка для меня и по сей день. И еще была пачка журналов «Роман-газета», многие из которых я постепенно во время приездов к отцу и прочитал.

Почему я начал с книг? Потому, наверное, что они были и остаются очень важной частью моей жизни.

Первое, что вспоминаю о деревне: разъезженная трактором дорога. Вечная вода в колеях. Вдоль заборов натоптанные тропинки.

Помню телегу, упершуюся оглоблями в землю посреди улицы. Двух задних колес у нее уже не было. Я вышел гулять, покрутился у этой телеги... Тут-то и произошло мое знакомство с деревенскими. Были: Витька Коноплев, Вовка Софронов, Валька Копытов.

Витька тут и попер на меня. Какую-то штуковину, похожую на большой нож, на меня направил. А я не побежал.

Отец потом с гордостью рассказывал (не помню кому, но я слышал): — Коля Мялкин мне говорит: «Гляжу — наши к городскому подошли. Думал — побежит. Не побежал!»

Не побежал... А вскоре стали, конечно, все вместе гулять-играть.

Помню, как катали на крыльце дома Софроновых машинки, по доске, направленной вниз вдоль ступенек. Чья машинка дальше укатится. Что за машинки, чьи — не помню...

Вовка был, кажется, мой одноклассник. Жил тут у бабушки с дедом. Деда называл «дюдя». Работал его дед совхозным пастухом. Верхом на лошади пас коров. Матерился страшно, громко щелкал кнутом, загоняя отбившуюся животину в стадо. Родителей Вовки я не помню, не видел.

Софроновы потом уехали куда-то. Дом пустой стоял. Живали в нем городские шефы, приезжали летом помогать совхозу на заготовке сена.

А с Витькой Коноплевым мы с того первого лета и дружили. Но только в каникулы (а я приезжал на все — летние, осенние, зимние, весенние). Помимо каникул — не переписывались, не виделись... Так потом, когда перестал я туда ездить, и потерялись.

У Витьки был старший брат Колька, белобрысый, тощий, косоглазый, непутевый. Его посадили потом за кражу со скотного двора «посыпки» (корма коровам).

И был еще у них брат Анатолий. Тот сидел, кажется, за убийство, десять лет... Я как раз приезжал в Говорково уже после окончания школы и жил у тети Сани Палкиной, и тут Анатолий этот к ней и завалился.

Крепкий такой, наглый. Тетя Саня испугалась, но виду не казала. А он бутылку (были времена талонов) просил. Про меня спросил у нее: «Это Сереги городского сын?» (Отца так звали в деревне). «Да». Он усмехнулся. Мне не по себе было. Он посидел и ушел.

Где сейчас все Коноплевы? Кто жив? Слышал я, что Витька (он, кажется, на год меня старше) служил на Северном флоте и остался на сверхсрочную. Пожалуй, лучший вариант для него...

Ехали в Говорково долго — дорога плохая была, разбитая бетонка. Часто рейсы почему-то отменялись, и люди ждали следующий рейс, и потом тесно-тесно наполняли автобус-«пазик» старой модели. Трясло страшно, бензином воняло. Меня укачивало до тошноты.

Потом начали делать и быстро сделали асфальтовую дорогу. Я еще до армии успел по асфальту проехать.

Помню названия деревень по дороге: Дворицца, Раменье, Меленка. За Меленкой уж и Говорково, а за Говорковым большая деревня Жерновки.

Между Меленкой и Говорковым была низина, болотина, называлась она, кажется, Мартьяново. Говорили, что отряд поляков не смог перейти в давние времена (смута XVII века, конечно) это болото и не пошел дальше по этой дороге...

В Говоркове в то время, которое я помню, было... мысленно пересчитываю... девять или десять домов. Первый от автобусной остановки — дом Софроновых. Дальше, по правой стороне улицы, дом отца. На другой стороне, наискось от отцовского — большой, обшитый, крашенный в зеленый цвет, под железной крышей (или шиферной?) дом Гусевых, и дальше — их же старый дом. За ним, по той же стороне — колодец, общий на деревню — сруб под крышей, скамейки по бокам, чтобы ведра ставить, ворот с веревкой и привязанным к ней ведром. Или цепь? Колодец глубокий — наверное, веревка...

Я, когда уже стал постарше, ходил за водой на колодец, опускал ведро в темноту и холод колодезного сруба, толкал и потом уже придерживал ладонью ворот, чтобы он не разогнался, потом крутил на себя, хватаясь за отполированные ладонями деревянные рукояти, вделанные в деревянный же ворот. Кто-то же научил меня, показал в первый раз, как опускать ведро, как поднимать... Ведь я не умел это делать — в городе за водой ходил на водоразборную колонку.

За колодцем дом дяди Коли Мялкина, который жил один, про которого рассказывали, что он «тюремщик». Дом у него крепкий, огород большой, высокие шесты со скворечниками по углам огорода. Какой-то он был непростой, этот Коля Мялкин. Жил своей хитрой жизнью, в совхозе, кажется, не работал, но и, например, охотой, как мой отец, не занимался. Впрочем, кому-то казалась странной жизнь моего отца...

По другой стороне улицы после отцовского дома был большой пропуск — поляна, посреди которой втыкался в небо шест громоотвода. А дальше дом тети Сани — Александры Ивановны Палкиной. Дом большой, старый, с высоким крыльцом и большим двором. У Гусевых двор тоже большой был и у единственных в деревне в то время — корова (и овцы, и куры). У тети Сани — козы и овцы, куры. К ней я ходил за молоком по вечерам. У нее было, как в сказке: дернешь за веревочку — дверь открывается. Мне нравилось это.

За домом тети Сани — дом Бугровых.

Тут улица упиралась в перпендикулярную, короткую, в один ряд,

улицу — четыре дома. Осевший окнами чуть не до земли дом, в котором какая-то одинокая старуха жила. Дом Якуничевых — крепкий, не очень большой. Перед ним частенько стоял синий трактор «Беларусь», на котором работал Лешка Якуничев. Дом Копытовых. И третий — расхлябанный дом Коноплевых.

Был еще на отшибе дом, в котором жили мать с сыном. Был тот сын старше нас всех.

Между домом Якуничевых и домом Мялкина — два пруда, соединенных узкой канавой, через нее доски накинаны. Дорога шла мимо прудов, но мы не по дороге, а по этим доскам между прудами даже на великах проскакивали. В эти пруды Витька Коноплев и Валька Копытов забрасывали верши — сделанные из какой-то металлической сетки кульки, в них попадались карасики...

В начале деревни перед домом отца на пригорке росла огромная толстая ива с «плакучими» ветвями, тут же росли две старые толстые березы и кусты черемухи. Когда-то и тут были дома, угадывались даже в траве очертания огородных грядок.

Самый большой дом — Гусевых. Отца я их не знал, но слышал, что он утонул в пруду (в том, который через дорогу от деревни, в котором купались и мы), выпивший нырнул, ударился головой... Мать их, тетя Мария, была бригадиром в совхозе. Старший ее сын — Евгений (помню, как он только-только со службы пришел, давал нам, мальчишкам, примерить армейскую брезентовую панаму), шофер, ездил на ГАЗ-53. Младший — Миха, года на три-четыре меня старше.

Наша компания была: Миха Гусев, Витька Коноплев, Валька Копытов, я. Колька Коноплев, хоть старше даже и Михи был, с нами тоже водился.

Играли в войну: на скотном дворе — через дорогу от деревни, рядом с большим прудом (был еще «маленький» пруд чуть дальше); в овине — большом сарае, в котором раньше, похоже, сушили снопы и молотили, в наше время там навалом лежали порванные мешки с удобрениями; играли еще в «елочки» — лесном островке среди поля, по дороге в сторону уже нежилой в то время (только развалины нескольких домов) деревеньки Митрошкино.

Играли и в доме у Коноплевых — в избе бегали вокруг печки, на мосту, во дворе, на повети, где хранилось сено (у них было несколько овец). Я спрятался в этом сене, а Колька вилами тыкал, искал «партизана». «Как не попал-то?» — удивлялся он (наверное, испугался, когда понял, что могло случиться)... А потом меня пытали. Связали, и Миха даже прижег мне грудь сигареткой. Не сильно. И не обидно. Наоборот — я гордился тем, что я партизан и не выдаю своих друзей Витьку и Вальку...

Миха был не по годам крепкий, резкий, самолюбивый. Однажды он, уж не помню, каким образом, заставил Витьку Коноплева драться со мной. Мы молотили, молотили друг друга... Да и заревели оба. «Четвероклассник от третьеклассника ревет!» — сказал Миха Витьке, но мы больше не стали драться. И никогда уже больше не дрались, хотя ссоры бывали.

Отец мой был охотник. И там, в Говоркове, он только охотой и занимался — летом ловил кротов, зимой охотился на белок, ставил капканы...

Помню, как ходили с ним зимой на лыжах в лес. У меня были более узкие лыжи, чем у отца, но тоже широкие, охотничьи (сразу после шко-

лы, в 16-17 лет, я месяца два работал учеником слесаря на лыжной фабрике, где как раз такие лыжи и делали). Он проверял капканы и стрелял белок. Осенью ходили в поле, уже выкошенное, в стерне. Отец стрелял уток на лужах. Ну, и летом много раз ходил я по его «путику». Более ста кротоловок у него стояли по лесным дорогам. И каждое утро, как на работу, уходил в лес, проверял, возвращался уж вечером, ошкуривал... Распяленные шкурки он наколачивал на доски. Высушенные — складывал в стопочки, потом отвозил в город, сдавал (не знаю куда). Самая лучшая шкурка крота, без синих пятен с изнанки, стоила 20 копеек, похуже — 15, самого низкого качества — 10 копеек.

Однажды зимой в капкан попал большой рыжий кот. Отец принес его домой. У кота была повреждена задняя лапа. Пытались лечить ее, забинтовали. Но рана стала загнивать. Тогда отец сказал: «Будем, Игоряшка, делать операцию». Я держал Рыжика, а отец острейшим своим «шкуровочным» ножом отмахнул лапу до коленного сгиба (да она и так уже отваливалась), потом культию посыпал порошком из каких-то предварительных истолченных таблеток и накрепко завязал... А я ничего — не боялся.

Рыжик поправился, долго жил у нас, потом пропал куда-то... Я приехал на очередные каникулы, а его уж нет. Наверное, убежал в свою деревню. Деревенский же кот-то был, не лесной же...

После той операции отец и сказал: «Может, тебе, Игоряшка, врачом быть?» Но врачом я быть не хотел. А хотел я быть, например, археологом... Или... Да не знал я, кем я хотел быть. Но я хотел быть!

А однажды отец со слезой в голосе сказал: «Кем же ты будешь-то, Игоряшка? Таким же бродягой, как я». Почему он так сказал?

Как-то лежали с отцом на повети, там был сеновал (сено для кроликов) и с повети — лестница на чердак.

Мы лежали на сене. Что-то отец рассказывал. Я помню только, что он про своего отца, моего деда Андрея, говорил, что он был на Первой мировой войне, а в революцию — в Петрограде. Слышал, мол, на митингах выступления Керенского и Ленина.

Один ученик в школе (четвертый или пятый класс) спросил у меня как-то: «А что вы больше всего любили делать вместе со своим папой?» Я ответил: «С папой все хорошо». Это сейчас я так думаю, а тогда разве понимал. Когда-нибудь и Андрюшка мой поймет это. Должен понять.

Во дворе перед домом отец сделал для меня высокие качели. Это же надо было срубить деревья в лесу, сделать бревна, притащить их из леса, вкопать... Перекладина между столбами — какая-то железная палка, к ней привязал длинные веревки, на которые и крепилась доска-сиденье.

Приходили ребята, по очереди мы раскачивались и прыгали с качелей — кто дальше.

Отец не пил, когда я был у него. Нет, один раз было, зимой, кажется. Прихожу с гулянки, а он и Колька Коноплев (нашел же с кем и пить-то) в избе на полу лежат. Я и пошел к Коноплевым, к Витьке (мой дом был крайним с одного конца деревни, их — с другого). У него и ночевал.

Вспоминаю непоследовательными картинками. И уже строго по хронологии не выстроить эти картинки. Да и не нужно.

Речка Еза в километре от Говоркова, если идти через кладбище, можно пройти к ней и полевыми дорогами.

Между деревней и кладбищем было льняное поле. Помню, как раскинутую голубую скатерть — цветение льна.

На том же холме, посреди кладбища, были развалины церкви — розовая, заросшая иван-чаем груда битого кирпича. Храм был Никольский. И приход когда-то назывался (узнал уже гораздо позже) Николо-Говорковский.

А церковь относилась к недалекому монастырю, о котором тоже ничего не знал тогда, в детстве, узнал лишь недавно, в Интернете вычитал...

За рекой была деревня Ржищево. Теперь ее уже нет. А я помню, как зимой ходил туда с отцом. У отца была пила «Дружба» (он нес ее в рюкзаке за спиной), и он пилил кому-то дрова, а я сидел в доме, и там было много книг. Помню хозяина немножко, он и показал мне книги, разрешил брать, а сам ушел помогать отцу. И я читал какую-то книжку про индейцев. Было очень интересно, и я жалел, что не дочитал...

Солнечный летний день, цветущий луг, тропка, сбегаящая к реке... Счастье. По лаве (мостику в два бревна и даже, кажется, с перилами с одного бока) перешел на другую сторону речки. Там, наверное, была дорожка на Ржищево, но я пошел вдоль берега.

Еза — почти ручей, сжатый зарослями ольхи, крапивы... Темные бочаги перемежаются звонкими перекатами. Частые завалы перекрывают речку. Там, где кончаются каменистые перекаты, доньшко чистое, песчаное, и стайки «малявок» отбрасывают на белый песок тени.

Малявки — непонятной породы мелкие рыбки (с мизинец величиной), клюющие чуть ли не на голый крючок. Красноперки — чуть крупнее малявок, с красными перышками плавников. Вьюнки — похожие на налимов мелкие рыбешки. И пескари! Это уже крупный улов.

Но была там и настоящая рыба — голавль. Эти держались в более глубоких (хотя вряд ли там где-то глубже полутора метров было), хмурых бочагах, с медленной темной водой... Я пробрался к такому бочагу, наживил червя, закинул... Я вытянул голавля, и он, пружинно выгибаясь, прыгал на песке. Не помню больше о том дне ничего.

Еза — маленькая речка, ручей, была для меня большим, прекрасным и интересным, и опасным, и чудесным миром. Глядя на ее светлые быстрые перекаты (которые перепрыгнуть можно в два, а то и в один прыжок), представлял себе бурлящие пороги; глядя в сонные бочаги, с застывшим будто желтым листом или пушинкой иван-чая на медленной темной воде, представлял страшную их глубину... А берега были высокие, крутые, задернутые ольхой, кое-где и елки над водой клонились, у кромки воды — песок, камешки, а где-то и пологий открытый берег.

И хотелось пойти по берегу к истоку этой речки. Истоки рек почему-то манят меня сильнее, чем устья.

Недавно взглянул на карту — исток Езы совсем и недалеко от того места, где рыбачил я когда-то. И там, в самом верховье Езы, крестиком обозначен монастырь... Светлая моя речка, святая!

Говорково, Ржищево и другие окрестные деревеньки все монастырские были деревни.

Тогда не замечалось, а теперь вспоминаю — в избах в деревне иконы-то у всех почти были. У тети Сани Палкиной и лампадка всегда горела...

Стал я узнавать все про монастырь. Узнал, что основал его старец Игнатий. Нашел его житие. Как пронзило меня — 1 июня впервые я узнал о нем, впервые читал его житие. И день памяти преподобного Игнатия — 1 июня по новому стилю. Ни раньше, ни позже, именно в этот день прочитал я его житие... Разве не знак мне?

В житии и такие слова есть: «Преподобный отец наш Игнатий пришел на речку Езу, поселился здесь и положил основание обители. А откуда явился, какого он рода, то неведомо.

По Божию изволению собралось у святого Игнатия множество братии, и был он им наставником, учителем и вождем ко спасению. Так прожил он много лет.

И оставил он в обители, перед своей кончиной, завещание и предание свое братии, где сказано: «Если кому повелит Бог жить в пустыне нашей, то прежде всего о сем молю вас, Господа ради: поминайте меня, грешного, во святых молитвах своих, как поминайте же и родителей своих и весь род свой, и всякого человека Божьего, ибо в каждом кровь Адама и дух Божий. Я же вам, отцам и братьям, до земли челом бью и завещаю вам, чтобы между вами не было ссор и споров, а были любовь о Христе и мир духовный».

...На подъеме от Езы к кладбищу росла земляника, и, казалось, сам воздух там был напитан этим земляничным духом. И кладбище было какое-то светлое, не страшное... На краю кладбища, у развалин церкви, росла старая толстая береза с большим черным дуплом. Я залезал в это дупло. Береза, наверняка, помнила еще церковь и всех тех людей, что служили в ней.

Раз пошли с отцом на дальний бочаг. Сапоги, удочки, рюкзаки (у меня был свой маленький рюкзачок), плащ-палатка (где отец взял?) Часть пути шли клеверным полем, ноги в стеблях путались, я устал. Бордовые головки клевера рвешь, выдергиваешь трубочки-лепестки и сладкий нектар тянешь...

Бочаг, к которому мы с отцом подошли, называется Кукуй. Рядом деревня Жерновка. Недавно вычитал, что «кокуй» или «кукуй» — у древних славян-язычников место, где справлялся «купала» и проводились «русалии» — главные летние праздники наших далеких предков.

И правда, Кукуй очень подходящее место для купания — почти круглый, с чистой водой и достаточной глубиной, с пологим спуском к воде и широко раскрытым берегом со стороны Жерновки (название тоже весьма интересное, напоминающее о глубокой древности), и скрытый кустами и деревьями с остальных сторон... Так и представляется, как в ночи горели на берегу костры, как входили люди в воду...

Когда мы с отцом туда пришли, там как раз мальчишки купались.

Было там ближе к перекагу место, уже приспособленное для рыбалки — вытоптана площадка у воды, рогалинки под удилица в землю воткнуты. Парни, увидев нас, стали орать, плюхаться еще сильнее. А у отца сразу клюнуло, и еще... «Они рыбу пугают, она сюда и плывет», — усмехался отец.

Потом мы пошли вдоль берега по тропке среди кустов и деревьев к следующему бочагу — Кривцу. Он вытянутый и с изгибом, вода в нем прозрачная, дно каменистое. Место для рыбалки тоже у переката. Отец стал тут навес делать, дрова для костра собирать. А я закинул удочку и увидел в той чистой воде, как к червя, надетому на крючок, подплыл окунь. Я и на поплавок-то не смотрел, дождался, когда окунь заглотит наживку, и вытянул его.

Ночевали там.

Был еще дальше бочаг, название которого я не помню. Рядом с ним

деревня. Туда я ходил рыбачить с Коноплевыми — Витькой и Колькой. Жгли костер, жарили на сковородке картошку с луком (я не люблю жареный лук, а там показалось очень вкусно, потому и запомнилось). Чего наловили — не помню. Отпускал же отец!

Вечер и ночь на реке, влажный холодок, звезды, костер, стелющийся над водой и берегами туман, всплески воды, крик птицы, дальний гул машины, шорохи в кустах... И снова звезды, и искры костра, сливающиеся со звездами, и разговоры, содержания которых совсем не помню, но нужные же и интересные. И тишина.

Все это во мне — самой дорогой, сердечной памятью.

Были у нас велосипеды: у меня, у Миши Гусева, у Витьки Коноплева, у Вальки Копытова.

И гоняли по ухабам раздолбанной дороги, по вытоптанному стадом полю, по тропкам и по большаку — так, что спицы вылетали и втулки разваливались. Каждый день отец ремонтировал мой велосипед и подкачивал колеса. На этом же велосипеде он ездил в Меленку (километра за четыре) в магазин.

Не помню, ездил ли я в магазин на велосипеде, а пешком точно ходил. Помню, как стоял в очереди, покупал буханок шесть хлеба и укладывал их в свой рюкзачок. Купил маргарин, а продавщица, протягивая мне пачку, сказала: «Последняя, счастливый!» И улыбнулась. Совсем уже мелочь, а вот помнится...

Однажды поехали на великах далеко по большаку: Миха, Витька, я... Витька, когда еще собирались, сказал: «Смотри, мы ведь быстро поедем». И поехали — и Меленку уж проехали, и до самых Рамешек промахнули...

Если б знать тогда, свернуть бы там, в Рамешках, всего-то через дватри километра и приехали бы на кладбище, где еще останки церкви, место бывшего монастыря, основанного преподобным Игнатием. Если б знать... Ничего тогда не знал я, не знали, конечно, и Геша, и Витька. И не думалось мне ни о чем, кроме того, что уже далеко уехал от дома (все-го-то километров шесть) и что Витька-то отстал от меня. Велик-то у него совсем плохонький был.

Мы доехали до Рамешек и повернули назад.

...Вспомнился тот парень из самого дальнего, крайнего дома... Наглый, злой... Он нечасто с нами возился, но в то лето, видимо, не работал, не учился.

Пошли рыбачить на Езу — тот парень, Миха Гусев, Витька Коноплев, Валька Копытов, я. Мне только что в городе мать купила шляпу-сомbrero, плетенную из соломки (был год фестиваля на Кубе, и появились вдруг в магазинах эти шляпы). И тот парень (не могу вспомнить почему-то имя и фамилию) снял с меня шляпу и бросил на середину бочага. Мне бы просто войти в воду и взять ее или удилицем подтянуть... Плыла она, покачиваясь, я чуть не ревел. А парни смеялись. Потом достали шляпу. Наверное, в тот же день и пришлось ее выкинуть. Проучили, в общем, городского, — а не выделывайся со своим сомbrero!

С этим же парнем связан страшный и стыдный поступок. В их доме появились котята. Его мать попросила их поймать (уже большеенькие были). И мы стали ловить — весело было. Бегали по двору, избе, в подпол залезали... Поймали и пошли в сарай за деревней... И там убивали котят.

Сначала еще не прошел азарт ловли, все еще игра была. Было жутко и... интересно. Бросали об стену, пытались поджечь на живом еще котенке шерсть... Потом было страшно и жалко.

Я не помню, возражал ли как-то, убежал ли... До сих пор стыдно и больно.

Помнится, как Колька рассказывал мне и Витьке, как ездил в город, в военкомат. Что, мол, на стрельбище их привезли, автомат дали. «Я как дал очередь по молоку — бутылки все вдребезги!» — восторженно врал Колька (и мы верили). Слышал что-то про «молоко», в которое попадают при стрельбе. Какой ему автомат с его-то сильнейшим косоглазием! Ни в какую армию он не пошел, а попал потом в тюрьму за кражу.

Да, я бывал в Говоркове и зимой, и весной...

На Новый год отец приносил из леса елку. Наряжали ее мы обычно конфетами-батончиками, подвешенными за привязанные к ним нитки. Были такие белые батончики (темные — дорогие), назывались, кажется, «Зорька». Вкусные!

Конечно, эти новогодние конфеты с елки быстро съедались. А не на праздники — были те же батончики в кульке из грубой зеленой бумаги. Отец выдавал мне утром конфету, а остальные прятал (помню, что прятал, например, в кухне на подвесной, типа полатей, полке. А я все равно, за целый-то день, пока он в лесу, находил и таскал по одной конфетке.

Отец за это меня не ругал. Он вообще очень добрый был. Но мог и выпороть. Не за конфеты...»

8

...Почему Сергей Жилкин ушел из семьи, уехал в деревню, жил там один? Сам не мог понять. Ну, конечно же, не от огромной любви к охоте. От этого из семьи не уходят... А как-то все совпало — ушел, поругавшись с начальством, с очередной работы (он поработал и на двух крупнейших в городе заводах, и на швейной фабрике, и совсем в каких-то «шарагах» типа «Утильсырьё», в последний раз уж и в «зембанде» — бригаде землекопов — не сработался); выпивал в последние годы все больше, а после очередного ухода с работы и вовсе, пока все деньги, полученные под расчет, не спускал, не останавливался; с женой, разумеется, тоже все плохо было — ругались каждый день (а ведь по любви, по любви женились-то, или только казалось?)... Пропил он деньги, на последний назначенный рубль все же купил билет на пригородный поезд, Пыжа из сарайки взял и на охоту рано-рано утром... Вернулся уже к ночи. Собаку — в сарайку. Пять убитых уток на кухне на стол выложил. «Вот сам и ощипывай, и потроши, мне они не нужны», — сказала мать и ушла в комнату.

Уток он унес сестре. Да еще жена-то с матерью его и с сестрой не сошлась характерами. Еще на свадьбе что-то случилось. Он и не понял, что же не понравилось матери. И все — не общались, годами не виделись, ладно им тогда эту квартиру в «деревяшке» от швейной фабрики дали.

Мать несколько лет как умерла. Сестра одна жила (или не одна, кто-то был у нее, но замуж не выходила точно). Пришел ночью, она на другом конце города тоже в деревянном доме жила, уток на крыльцо положил и сам на этом же крыльце уснул...

Вскоре после того случая он и уехал в деревню. Но сразу с женой договорились, что сын на каникулах у него будет жить.

В то утро, 31 декабря, он встал рано, наносил воды из колодца, затопил печь, подмел и вымыл пол в избе. Он ждал приезда из города жены и сына.

На десятичасовом автобусе они не приехали.

Сергей Жилкин напился чаю из самовара. Пошел на лыжах в ближайший от деревни ельник, там, на опушке, он давно присмотрел стройную елочку. Но решил не рубить ее, а привести прямо сюда жену и сына, вместе с ними нарядить.

В лесу было тихо-тихо, лишь изредка наносило гул машин с дороги.

Вышел на поляну. Его елочка вымахнула на самом краю леса. Жилкин толкнул палкой ствол, и снег, тяжело ухнув, осыпался с ветвей.

Он утоптал вокруг елочки площадку, еще раз полюбовался на нее со стороны, наломал веток с соседних елей и двинул обратно своим следом, глубоко дыша чистым морозным воздухом.

Он все приготовил к празднику: свечки, которые они зажгут ночью у елки, украшения для нее, конфеты для сына, а им с женой — две бутылки сухого вина. Обдумал те слова, которые скажет жене в подходящую минуту. И она, может быть, наконец-то, простит его...

По дороге, укатанной машинами, Жилкин шел к дому. Издали увидел у калитки Кольку Коноплева.

— Здорово, Михалыч! — крикнул Колька. — С наступающим!

— Здорово. И тебя.

— Капканы проверял? — вежливо поинтересовался Колька. Из кармана его фуфайки призывно выглядывало горлышко бутылки.

— Нет, Колька, не буду я пить, жену и сына жду.

— А-а! — Колька махнул рукой. — Ну, давай! — И побежал к соседней избе. Обернулся:

— А то, может, Михалыч... — щелкнул пальцем по горлу.

— Нет.

На двухчасовом автобусе они тоже не приехали.

Еловыми веточками Жилкин украсил комнату. Укрепил над окном, поставил в банку с водой на столе. Ветви оттаяли, и изба наполнилась густым хвойным духом.

Сергей Жилкин сидел у окна, смотрел на дорогу. Ждал пятичасовой автобус, на котором они уже точно приедут.

Думал о том, как обрадуется сын Игорь походу в лес. И ходьбы-то пятнадцать минут, а для него праздник! У самого Жилкина в детстве было мало праздников. И вот — сын. Только бы радоваться. Но Жилкин уже третий год живет один в деревне, лишь иногда ездит в город к жене и сыну, или они к нему. Игоряшке без отца плохо. Жилкин это понимает. Но что он может сделать? Сам, конечно, виноват...

Из окна далеко была видна дорога. Жилкин жадно вглядывался в каждую точку на горизонте. Ехали машины. Наконец разглядел автобус. Он остановился напротив деревни, метрах в ста. Вышел один человек. Это была тетя Саня Палкина, ездила за чем-то в город.

Больше сегодня автобусов не будет.

Сергей еще три часа сидел у окна, хотя уже ничего не было видно, лишь изредка проплывали огни фар. «Может, на попутке приедут», — тешил он себя мыслью, понимая, что они не приедут сегодня, не приедут...

В десять часов он открыл первую бутылку вина. Потом вторую. Потом достал из подполья бутылку водки...

Ровно в двенадцать ночи вышел из дома и побрел напрямик по снегу к дороге, в сторону города...

...Первого января, днем, из автобуса вышли двое: женщина и ребенок — мальчик. Они свернули с дороги и пошли по тропинке к деревне, крайнему ее дому.

Вера Жилкина сразу узнала бордовый шарф, колыхавшийся на ветке куста метрах в трех от тропы, чуть дальше — валялась на снегу рукавица. Следы к дороге вели...

...Она собиралась приехать к нему на праздник. Но тридцатого вечером позвонила одинокая подруга, намекнула, что не против бы прийти к ней в гости. Не смогла Вера отказать ей.

Что ж, в конце концов, и не обещала, что придет. И вот...

Она старалась не напугать сына. Даже не стала подбирать шарф и рукавицу.

Ключ был на месте за наличником. Вошла в избу. Увидела бутылки на столе.

— Папа, наверное, в лес ушел.

— Да, наверно. — Тяжело опустилась на табуретку, обвела взглядом комнату: еловые ветви, чисто... Ждал.

— Мама, а почему папа елку не принес?

— Не знаю. Раздевайся. Валенки на печку поставь.

«Что же делать?..» И вдруг злость закипела: «Ну, я ему покажу, когда явится! Ведь сказала, что, может, и не приедем. Нет — поперся! Да уж и напиток надо обязательно!..» — Убрала бутылки. И — как споткнулась: «Да он же замерз, один, ночью, на дороге, пьяный. Замерз».

— Мама, а мы чай будем пить из самовара?

— Будем.

Дрова у шестка аккуратно сложены. Затопила теплую еще печь. А сердце болит.

Послышались шаги в сенях. Дверь отворилась, и в комнату ввалился Сергей Жилкин. В распахнутом полушубке, без шапки, без рукавиц. Правый глаз заплыл огромным синяком.

— Папа, а где ты был? Папа, а кто тебя? — Голос Игоря задрожал, он заплакал.

И тут потекли слезы у самого Сергея Жилкина, заревела в голос его жена Вера. И они забыли все слова, которые хотели сказать друг другу...

Нет, не сошлись и после этого... Не простила она его.

В ту же зиму на делянке (снова заготавливал дрова для совхоза) его с маху задело макушкой падающей ели, он полз по лыжне, но до большака не дотянул. Нашли его через сутки...

А Игорь Жилкин не очень-то и помнил ту зиму... Помнилось, как на следующий день отец все же принес елку в избу. И Игорь сначала развесил конфеты на ветки, а потом ел те конфеты...

Игорь Сергеевич продолжал писать: «Зачем я вылавливаю в памяти эти песчинки детства в деревне? Зачем? Ничем мое детство не хуже и не лучше миллионов других детств. Но это — мое... И даже та скука, что бывала от целодневного одиночества (когда ссорились, например, с Витькой и Валькой), даже та скука сейчас вспоминается как великое счастье.

У Коноплевых была мать-старуха. Во сколько же лет она Витьку ро-

дила? На стене висела у них фотография отца и матери — свадебная. И там она уже немолодая, а отец и вовсе старый.

Я его, отца Коноплевых, помню очень старым. Худой, высокий (но даже в том возрасте не сутулый), ходил все время в длинном брезентовом плаще. Часто в лес бродил, за грибами. Смотришь — идет вдалеке по окрайку леса длинная фигура в балахоне, и даже как-то не по себе становится.

Никогда он с нами не разговаривал. Ладно, со мной — чужим мальчишкой, но и со своими детьми я не помню, чтобы говорил. Будто и не дети ему...

Потом мать у Коноплевых умерла. И жила у них в доме какая-то слепая старуха, родственница. Все на печке лежала.

Однажды весной (снег лежал еще) с Витькой зачем-то в овин за деревяню потащились. Потом обратно. Витька далеко вперед убежал. Я в резиновых сапогах, в поле сугробы, под ними вода. Снега начерпал в сапоги. Ноги замерзли страшно. Я еле дошел до дома Коноплевых. И эта старуха меня на печь позвала (как узнала?), трогала руками ступни мои, грела. Чуть не отморозил ноги-то...

Потом и эта старуха куда-то пропала... Не стало ее, когда на другие каникулы приехал, и все. Потом и отец Коноплевых умер. Казалось, что и забыл я их совсем, а вот вспомнил. Время пришло вспоминать.

За грибами, конечно, ходили.

Один я чаще ходил в болотистый лесок сразу за большаком напротив Софроновского дома. Тут и с Витькой Коноплевым часто ползали. В этом леске росли серые (подберезовики), попадались, но реже, и другие грибы.

Было у меня и «мое место» — окраек леса за большаком. На своем месте я знал, что под этой осиной найду подосиновик, а в тех вон елочках — белый. Лисички там были всегда.

Иногда отец и летом брал меня в лес, проверять кротововки...

Кротовьи ходы, пересекающие старую лесную дорогу, хорошо видны. Отец разрывал ход с одной стороны дороги, ставил в дырку настороженный капканчик-кротововку, специальным ножом с длинным лезвием вырезал с краю дороги кусок дерна и закрывал им отверстие с кротововкой, так же ставил капкан с другой стороны дороги. Втыкал рядом неприметную для чужого глаза веточку. И потом уже только ходил, проверял — наклонится, приподнимет дерн; если пустая кротововка — закрывает ход, следующую смотрит, если крот попал — достает его, бросает в корзину, настораживает снова капканчик.

Более ста кротововок у него было, а путик километров пятнадцать, кажется.

Спал я в комнате на полу. Матрас к моему приезду набивался свежим пахучим сеном. Рядом у стены стояла металлическая кровать, на которой спал отец. Во всю стену над кроватью — карта мира. Вот откуда мои дальнейшие школьные успехи в географии!

Потом и в городской квартире над моим столом висела карта мира, но меньшего размера.

Я знал все страны и их столицы, путешествовал на всех континентах, плавал по всем океанам, побывал на всех островах (предпочитал крохотные, может, необитаемые)...

Лето. Проснусь на своем матрасе или на полу, скатившись с матраса во сне. Отец уже в лес ушел. Я воды из самовара налью (на столе у окна

стоял). Тут же под тряпочкой-накидкой хлеб — штабелек буханок (всегда ведь с запасом покупали). От початой буханки отрежу кусок, намажу маргарином или жиром (продавался белый какой-то жир в поллитровых банках)... Или же в куске хлеба делается пальцем вмятинка, в него наливаешь из бутылки зеленого стекла с тугой пробкой подсолнечного масла, размазываешь масло пальцем по куску, посыпаешь солью... Замечательно!

А пил-то с утра не воду, а молоко козье... Или вечером молоко? Но точно помню, что вечером, часов в восемь, ходил с пустой поллитровой банкой к тете Сане за молоком. По крыльцу поднимаешься и, как в сказке — за веревочку дернешь, дверь и откроется. Подашь ей пустую банку, а она — полную теплого молока, еще и куличиков испеченных только что даст... В избе у нее были иконы, и всегда горела лампадка. А жила она одна. И замужем не бывала. От кого-то слышал, что у нее жених еще с финской не вернулся...

Но утро... Телевизор был — включал, смотрел. Потом обязанность моя — нарвать корзину травы и покормить «кролей», то есть кроликов. Еще поливал грядки с луком и огурцы в парнике.

Пестрая зелень огорода: сизовато-зеленые, на голубизну — перья лука; зелено-желтые мутовки укропа; яркая зелень морковной ботвы; темно-зелено-сиреневая ботва свеклы; густая зелень картофельных гряд...

А еще кусты смородины (красной и черной) и старые корявые яблони, родящие кислую мелочь, и рябина в палисаднике. Из этих яблок и рябины отец делал на зиму компот.

Итак, я поливал лук и огурцы. На грядочках в палисаднике росла редиска и даже репа, но не помню, чтобы поливал там.

В дальнем углу огорода небольшой, но глубокий пруд с холодной водой. Зачерпну ведром, несу к грядкам и теплице. Железной банкой с продырявленным, как решето, дном поливал. Почему-то не было лейки.

Собака Пыж, летом на цепи (во время, запрещенное для охоты, отец не брал собак в лес). Место собаки в доме за крыльцом или в сарае-дровнике — между ними натянут трос, по которому пес и бегаёт. Кишу ему кусок хлеба, который он хватает на лету, хлопнув пастью, и проглатывает, и пойду... Пойду, например, к дороге, к большаку, превращаемому в асфальтовое шоссе.

Вдоль шоссе — прекрасные, чистые, с песчаным и гравийным дном лужи. Те лужи превращались в моря, по которым плыли корабли, а на берегах из песка и камешков строились крепости...

Недолговечны крепости из песка. Но в памяти, кажется, каждая песчинка осталась.

С гулом проносятся по дороге машины. А под дорожным откосом, у лужи, сидит на корточках мальчик — в сандалиях на босу ногу, старых брюках от школьной формы, в грязноватой рубашке, с выгоревшими до белизны волосами. И песчинки перетекают из одной ладошки в другую. И нет для него никакого времени, только вечность...

А там и лес рядом, по своему месту пройду, обязательно грибов найду. Дома на маленькой, долго нагревающейся электроплитке поджарю грибы, положив в сковородку того белого жира и мелко покрошив их...

Потом к Коноплевым. Или сразу на «большой» пруд — опять за большак. А там уже и Миха, и Витька, и Валька, и еще кто-то...

Купались в том грязном, с глинистым дном, пруду, выкопанном для поения скота, не умея толком плавать, до посинения.

Купались и в «малом» пруду, чуть дальше, за прогоном. Потом пере-

стали там купаться, и пруд затянуло водорослями, по краям он зарос осокой... Я любил ходить туда один. Смотрел, как за уткой, будто пуховички, нанизанные на нитку, плыли утята, как ондатра плыла к норе, неся во рту стебли осоки...

Помню, как однажды отец зимой брал меня в лес. Он там пилил бензопилой деревья. Наверное, договор какой-то заключил с сельсоветом.

Я помню заснеженный лес, вой пилы, запах сгорающего бензина. Помню огромную кучу обрубленных веток. Отец плеснул бензин и поджег.

Огромный жаркий костер в зимнем лесу.

И даже в тех лесных походах или когда вечерами были дома, отец очень мало разговаривал со мной... О чем он молчал все время?

Папа, о чем ты молчал?

И все-таки, кое-что я узнал и от него, и уже недавно от его сестры, тети Гали...

Семья отца — мой дед, бабушка, его сестра — была выслана из соседней губернии. Мой дед (отец тети Гали и отца) и его брат были сыновьями богатого скотопромышленника — в Питер на продажу мясо возили. Брат моего деда якобы уехал потом в Канаду...

А дед воевал в Первую мировую, в революцию был в Петрограде.

После высылки в N-ск дед еще работал ветеринаром в пригородном совхозе, потом ушел на войну и погиб.

Отец как-то обмолвился, что хорошо бы найти деревню, из которой семья его отца была выслана, да так, кажется, ничего и не нашел, никуда не ездил... Может, это предстоит мне?

Одно лето у Гусевых из окна все звучало: «За стеной пиликает гармошка, за окном кружится белый снег...» и другие песни. Очень нравились мне. Я еще не знал, что это любимая моя в будущем певица Анна Герман.

Ничего я еще не знал. Что скоро отца не станет, что... Ничего не знал. Только мечтал о чем-то неясном, непонятном, большом, интересном... О жизни?

И еще помню: в огороде, на расстеленном покрывале — мама (в купальнике, загорает), папа, я. Перед нами целая куча лука, мы обрезаем корешки. Сочиняем все вместе, по очереди, сказку. Сказку я не помню, не получилась у нас сказка...

Когда-нибудь я доеду до Говорково (может, с сыном), через тихое кладбище дойду до Езы и пойду вверх по течению. (Мне ведь всегда хотелось найти исток). Приду туда, где был монастырь, где стоял храм. Место это обозначено крестом. И попрошу: «Святой отче Игнатий, моли Бога обо мне, грешнике...»

Летняя лень. Распаренный солнцем дворик.

Сарайка, поленица дров, домик.

Мальчик сидит на крыльце, мечтает.

То ли по морю плывет,

То ли по травке идет,

То ли в небе летает...

Небо и солнце, жизнь и любовь —

Всюду!

Я — это он. Был и всегда буду...

...Три вечера Игорь Жилкин писал свои «деревенские воспоминания». Решил, что потом и про детство в городе напишет.

Позвонил Елене. «Я на дежурство... Хорошо... Пока».

...Пять лет назад она неожиданно ушла из школы, в которой они вместе работали.

— Место у энергетиков в пресс-службе освободилось. Юлька Смирнова ушла. Которая со мной в группе училась. Ну, такие возможности упустить нельзя. С нашим-то заработком. — Не советовалась, ставила перед фактом.

Обидно было, а не возразишь особо-то.

И тогда же, в том же году, в школу пришла Ирина. Географию стала вести.

И как-то быстро у них закрутилось. Взгляд, фраза... Вскоре уже провожал ее домой.

Она была старше Елены, ровесница с ним. Не замужем. Дочь — школьница.

Год тянулись отношения, которые Жилкин принимал за любовь. Даже предлагал жениться. «У тебя жена и сын», или: «У тебя семья», — всегда отвечала она. Не слушала, что он говорил. А он как с ума сошел. «Неужели Лена ничего не замечала?» — думал потом. Впрочем, Елена в тот год работала на новом месте особенно много, уставала... Во всяком случае, так говорила ему, он охотно верил. Андрюшка именно тогда начал жить какой-то своей тоже жизнью, уже не всем делился с отцом.

А потом Ирина, не доработав и года, вдруг ушла из школы. Телефон ее не отвечал. В учительской слышал, что, мол, вышла замуж и уехала.

И он, будто из дурмана, из той влюбленности выбирался...

А у него это было — влюбчивость. Первую девочку «полюбил» еще в садике — почему-то решил, что именно с ней будет ходить за руку и защищать ее от других мальчиков. Конфету как-то раз ей из дома принес.

Потом в первом классе девочка понравилась, провожал ее от школы домой (благо, жила в ста метрах, на соседней улице). Потом еще... Потом уже та была, с которой впервые целовался...

И ведь это притом что стеснительен был ужасно — все время казалось, что делает что-то не так и над ним смеются. Но эта стеснительность в отношениях с девочками и девушками, видимо, и придавала решительности. Преодолев стеснение, шел уже напролом. И ведь добивался своего — за руку подержаться, ткнуться холодными губами в щеку...

Так же и с Еленой было — быстро. Вернулся из армии, восстановился в институте, познакомился, а через две недели уже жили в одной общежитской комнате, через месяц поженились. После женитьбы увлечения бывали (влюбчивость-то никуда не девалась), но все это было быстропроходящее...

Он уж думал, что «перебесился», когда с Ириной-то закрутилось у него. Потом, когда морок прошел, думал: «Хорошо, что Лена не узнала ничего». Но иногда ему казалось, что она знала...

А вскоре он тоже ушел из школы и стал работать охранником вот здесь, в этом большом доме, к которому сейчас подходит.

Как обычно, принял дежурство.

Ночью писал: «За пять лет после армии Олег Дорогин побывал в Сибири, в Средней Азии, работал в геологических партиях, на стройках...

Вернулся в Октябрьский, получив от сестры телеграмму о смерти

матери. Устроился работать в железнодорожную мастерскую и стал усиленно готовиться к поступлению в Литературный институт, о существовании которого узнал, еще служа в армии.»

В этот год, кажется, он и побывал впервые на своей малой родине, в деревне Большие Дворы. Во всяком случае, именно этим годом датировано стихотворение «На озере Сухтинском» («Озеро — взмах синего крыла...»). Большие Дворы в нескольких километрах от этого озера...

В прошлом году Игорь Жилкин собрался и съездил на малую родину Олега Дорогина. Час на электричке, да столько же в автобусе вдоль синего Сухтинского озера — длинного, узкого и, правда, напоминающего крыло...

Деревня вольно лежала на пологом склоне холма. С одного края холм обегала река, за ней — лес, в другие стороны — леса, луга, кое-где прорезанные дорогами... Красивые места. Стали они родиной для Дорогина, или родиной все же считался неказистый железнодорожный поселок? Конечно же, считал родиной поселок! Но и эти места в сердце принял.

Пять домов осталось от Больших Дворов. Жили в трех. В первом — городские дачники, купившие дом два года назад; во втором — местный мужик-алкоголик, с виду старик, оказалось, что сорокалетний, промышлявший рыбой, ягодами, грибами. В третьей, осевшей окнами до земли избушке, — восьмидесятилетняя старуха.

— Дорогины? Были такие. Вон там их дом стоял. Так и звали — дорогинский дом. Я-то уж не помнила, до меня было, а говорили, что раскулачили. В доме школа была, я училась в ней — четыре класса, потом контора колхоза, а потом уж... — махнула рукой. — И колхоза не стало, и людей-то не стало дак...

Вспомнила она и Олега Дорогина. Да, приезжал. Еще дом стоял, но уж пустой. Ходил, все тоже чего-то спрашивал. А ты-то не Дорогин? Последний-то раз лет тридцать назад был... Ничего уж не помню. Все забыла.

Старуха сидела на крыльце, теребила руками в синих сплетениях вен, пальцами с утолщенными суставами, передник.

Жилкин подумал, что и на родине его отца, может, тоже доживает еще какая-то старуха... И на родине матери... И надо найти те места. Почувствовать их.

Но так до сих пор и не узнал даже, где деревенька, из которой уехали родители отца. Откуда приехали в N-ск родители матери, тоже имел лишь весьма примерное представление.

«...Складывалась судьба человека, похожая на многие судьбы. Вот только человек поэтом был. Наверное, чувствовал все острее других. Хотя... Больно бывает всем», — записал Игорь Жилкин в тетрадь.

Было уже не раннее утро. Поток служащих, спешащих в офисы, схлынул. Игорь Жилкин сидел на своем месте напротив входной двери.

Вошла женщина в темной одежде. Сразу к нему подошла:

— Вы Жилкин?

— Да.

— Это вам. Станислав писал, но не успел передать. Я сестра его. — Протянула сложенный вдвое лист и пошла к выходу. Дверь мягко закры-

лась за ней. А в руках Жилкина осталось письмо от умершего неделю назад Станислава Комарова.

«Игорь, привет. Хочу извиниться перед тобой. В глаза — не могу. Ну, вот так — извини...»

Комаров как живой представился, голос его — чуть скрипучий, ухмылка вечная, так что всегда сомневаешься — серьезно ли он говорит? Вот и сейчас... Ухмылка чувствуется.

«...Я серьезно, Игорь. Я не прав и прошу прощения. Друзьями мы не были и теперь уж не будем, но именно перед тобой хочется быть честным.

Конечно, я был неправ. Дорогин — настоящий поэт, а уж первого ряда или второго — это уже условности. Да и остальные-то наши, тот же профессор... Ведь если бы они меня приняли — наверное, у меня бы к ним и претензий не было. Обидно самому о себе такое понимать, но, что поделаешь, это так.

Видишь, как откровенен. А потому что последний раз, наверное, беседую с тобой. Уехать хочу. Ничего меня тут не держит.

Так что, прощай. Желаю тебе творческих успехов. С интересом прочитаю книгу о Дорогине.

С. Комаров».

«Вот как. Вот как... Попрощался. А может, он знал, что умрет? Нет. Человек внезапно смертен... Конечно, прощаю, Станислав. И ты меня прости».

А дома сын неожиданно сказал:

— Папа, я тут рассказ написал...

— Да ну? Интересно.

— Хочешь прочитать?

— Хочу.

Сын протянул отпечатанные на принтере листки.

...Я приоткрыл левую створку металлической двери. Все ящики, оборудование и не пойми что еще были покрыты пылью. Вот уже сколько лет никто сюда не входил...

...Между горой ящиков и каким-то станком лежал робот. Робот с четырьмя руками. На его небольшой голове был один блестящий черный глаз. Я хотел наклониться, чтобы поближе его осмотреть, и задел ящики. С самого верха этого контейнерно-коробочного нагромождения упала какая-то железяка и угодила прямо в голову робота. В ней что-то зажужжало, и робот приподнялся, опираясь на верхнюю пару рук...

Он смотрел на меня своим немигающим глазом-объективом и медленно обходил меня по кругу, слегка шаркая по полу железными ногами, которые при ходьбе поскрипывали.

— Ты робот? — спросил он.

— Нет.

— Голографическая проекция?

— Н-нет.

— А кто же ты?

— Я... Я — синкав.

— Это такая модель?

— Не совсем.

— Из чего же ты сделан?

— Из... Вроде как из мяса.

Он был удивлен. Насколько это можно было понять по его механическому лицу и легкому то ли жужжанию, то ли визжанию, которое он издал при моих словах.

— Я видел «мясо». Оно не может думать. И двигаться. Ты не можешь быть сделан из мяса.

— Но это так. Уверяю тебя.

— Это ложь. Я могу взять небольшой образец твоей внешней оболочки?

— Вряд ли. Мне это будет в некотором роде неприятно. И еще... Откуда ты знаешь мой язык?

— Другие мне неизвестны, так как их не существует.

Я сказал ему пару слов на бринском.

— Этот набор звуков не имеет смысла.

— Имеет. Я сказал...

Он не дал мне договорить.

— Ты опять лжешь.

— Ты вряд ли можешь знать, что такое ложь. Ты же робот. Роботы не могут врать.

— Ну, разумеется, не могут... Вот видишь. Могут. Я это только что продемонстрировал. Если ты не можешь этого делать, это всего лишь недоработка в твоей операционной системе. Прости, но сейчас я должен вернуться к своей работе. Так... А где это я?

Похоже, что он впервые осмотрел комнату, в которой мы находились. Он как-то глупо оглядывался по сторонам и размахивал всеми четырьмя руками.

— Ты на небольшой необитаемой планетке. Это старая заброшенная научная база.

— Я не мог здесь оказаться. Полеты между планетами невозможны.

— Возможны. Я часто путешествую. Моя родная планета— Монква. А твоя?

— Планета. Просто Планета. Мы сейчас здесь находимся.

— Это не Планета. Это небольшая научная база. И ты явно не здешний. Таких роботов невыгодно использовать для переноса грузов и другой работы.

— Я сейчас все еще на своей родной Планете.

— Пойдем. Я тебе кое-что покажу.

Мы вышли из помещения склада и пошли по бетонным плитам, покрывавшим большую часть поверхности безжизненной базы. Мы уже подошли к стенке прозрачного купола, закрывавшего всю площадь базы, когда он вновь заговорил.

— Этого не может быть. Это не моя Планета.

— А ты не верил...

— Мои батареи рассчитаны на непрерывную работу на протяжении нескольких лет. Неужели я буду все это время находиться здесь? А я даже не знаю, где я сейчас...

Мы стояли, и смотрели в небо. Смотрели на звезды, которые несут свой свет через пространство вот уже миллиарды лет. Как же долго живут звезды...

— Ты помнишь, как сюда попал?

— Нет.

— Ты можешь полететь со мной. Я попытаюсь найти твоего хозяина.

— Хозяина? У меня нет хозяина. Я сам себе хозяин.

— А кто же тебя создал?

— Роботы.

— А их?

— Другие роботы.

— А самый первый робот? Кто же его создал?

Вместо ответа я услышал скрип и громкий удар.

Робот лежал на земле. Батареи, рассчитанные на несколько лет работы, разрядились. Его блестящий черный глаз, который больше ничего никогда не увидит, отражал горящие в небе звезды.

— А кто это «я»?

— Синкав.

— А кто создал самого первого робота?

— Ну, робота, может, люди...

— Значит, и они потомки человека?

— Может, и так...

Да, интересный рассказ.

12

Сегодня Елена Жилкина пораньше с работы ушла. Заезжала сначала в женскую консультацию, потом домой.

Думала о муже, об их жизни. Он хороший, ее Игорь. Слишком хороший для нынешнего времени. Поэтому она денежную работу не упустила, когда появилась возможность... Про его «загул» она, конечно, знала, но не стала проверять. Да чего проверять-то, работы тогда, в первое время, на новом месте было много, вот она в работу и ушла с головой... Мужики, конечно, посматривали, даже и шеф. Но она себя сразу поставила так, что никто даже не намекнул. А работала так, чтобы ценили за профессиональные качества; ее и ценили. С Игорем жили, будто и не случилось ничего. Занимается он там своим поэтом, ездит по деревням как-ким-то, ну и пусть. Он хороший, хороший... И сама себя ловила на том, что будто бы уговаривает себя. Да любит ли еще?... «Любит. И я люблю...»

А познакомились еще в институте, сразу закрутилось у них, а с виду такой был скромник. Уже жили вместе, когда он впервые поехал к ней в деревню, знакомиться с мамой. Так волновался. И так восхищался той деревенской жизнью, сам-то он городской, хотя рассказывал, что ездил в деревню к отцу. Но ездить в деревню на каникулы и родиться и жить в деревне — это, конечно, разные вещи.

Поженились, в деревню часто ездили.

Когда ее мамы не стало — поездили в деревню, но потом пришлось дом продать. Жалко, но что делать-то... Как раз самое трудное время было — в школе получали копейки, ездить далеко, подвернулись покупатели — согласились...

Оставила машину во дворе, привычно посмотрела на окна квартиры. Открыла дверь своим ключом. Игорь вышел из комнаты.

— Привет.

— Привет. — Он помог ей снять плащ.

— Игорь, а я хочу съездить домой, в деревню.

— Вместе поедем, — сразу ответил он.

— Я думаю, можно бы поговорить о том, чтобы выкупить дом, я узнавала, там не живут.

- Да, конечно... Что-то и мне надо менять.
- Знаешь...
- Что?
- У нас ребенок будет.
- Как?
- Ну, как дети бывают, — улыбнулась и прижалась к нему.

...На следующее утро он пошел на кладбище, посидел на скамеечке у могилы бабушки, протер памятник... Улитку, переползавшую по черточке между датами рождения и смерти, не стал снимать. Вспомнил стихотворение Дорогина:

В звездах и в поле,
Во мне и в тебе,
В небе, в земле,
В воде и деревьях,
В этой улитке
И в этой траве,
И в вековой
Чреде поколений...
Жгучая тайна.
Вечная тайна.
Как разгадать ее...
Как разгадать ее...

Пошел в храм. У могилы отца Георгия задержался... В храме шла служба. Он встал в очередь на исповедь.